

Игорь Агафонов

*Под  
прикрытием  
Пенелопы*

Проза



Игорь Агафонов

**Под прикрытием Пенелопы**

«Издательские решения»

## **Агафонов И.**

Под прикрытием Пенелопы / И. Агафонов — «Издательские решения»,

Третья книга автора в Ридеро. Живёт он в Подмосковье. Известен как непохожий ни на кого прозаик-психолог. Публикации его в периодике вызывают живой читательский интерес.

# Содержание

Придумка и натура	6
Конец ознакомительного фрагмента.	61

**Под прикрытием Пенелопы**  
**Проза**  
**Игорь Агафонов**

© Игорь Агафонов, 2016

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

## Придумка и натура

### Роман

#### 1.

Ефим Елисеевич купил в ларьке джин-тоник, отпил половину и сказал сам себе вслух.

– Надо бы жевнуть чего-нибудь. Беляш разве горяченький? – и потянул носом луковый запах в предощущении блаженства...

У распахнутых дверей чебуречной притаилась мусорница – кудрявый барбос с разинутой пастью. Заметив сей шедевр уже на выходе, Миронов от неожиданности дёрнулся и подавился откушенным... Прокашлявшись, выдал оценку:

– Забавно!.. Вот тебе и от меня кусочек – жри-те-с! – и кинул в разинутую пасть чугунового литья недоеденный чебурек. – Может, и ты подавишься этой дрянью. Или изжога тебя доконает. Хотя желудок твой, нябось, лужонный.

Затем Ефим Елисеевич послонялся по душным и тесным зальчикам вокзала, где не только лавки, но и весь пол был занят пассажирами.

Внимание привлекли двойняшки в коляске. Один капризничает, другой успокаивает, отдавая ему свои игрушки. Когда дары закончились, капризуля взмахом ручонки выбросил их на пол и засмеялся...

Поодаль ребёнок постарше шёл-шёл, лавируя между отдыхающими на полу, и споткнулся, звучно шлёпнулся пузом – этакий характерный хлопок получился. Повертел головой – нет ли кого, кто посочувствовал бы ему? Некому! Покряхтел-покряхтел, поднялся и посеменил дальше. И всё оглядывался...

Миронов вышел опять в достаточно тёплую по этому времени года ночь. Сел, постелив газету, на передний ряд кресел, вынесенных из основного здания, где проходила реконструкция, и, положив нога на ногу, уставился в тёмное, без признаков звёзд небо, больше похожее на декорации в театре. Вдобавок к этому освещённый пятак у окон камер хранения странным образом и удивительно, кстати, напоминал подмости провинциальной сцены. И на этом пятачке, по сценарию Главного Режиссёра, разыгрывалось некое действие.

«Эк, однако, на поэзию тебя потянуло после писательской пирушки!»

К слову, заметим, что на электричку Миронов опоздал по случаю презентации новой книги и заодно творческого вечера своего товарища Волохи в Доме писателей.

У камер хранения высокий очкарик в коричневой кожанке бранился с двумя коренастыми, пониже его ростом, мужиками. Одного из них он пытался даже ухватить за грудки, а другого отпихивал в сторону. Из левого окна камер выпрыгнул здоровяк в синем спортивном костюме с белыми лампасами, и с его помощью те двое затолкали очкарика, так что тот чуть не упал. Тем не менее, обретя равновесие, он опять двинулся на них.

– Отдай, вражина! – взвился он отчаянным дискантом и схватил-таки, изловчась, одного за ворот. И тогда из камер стали высовываться кладовщики и кричать – были, видимо, задеты их общие, корпоративные, так сказать, интересы:

– Нет, ты только погляди на этого Ваньку-встаньку!

– Врежьте ему как следует! Чё-о он себе вообразил?!

Поднялся гам. Очкарик что-то доказывал, размахивал руками. Тот, на кого он насакивал, отбивал его руки, вяло огрызался. Все остальные вокруг тоже галдели. Миронов ещё раз подумал, вроде бы защищённый своей отстранённостью, что сцена эта во многом сродни театральной: «Одни участвуют, другие наблюдают...»

Тут стали ругаться явно не по-русски. И Миронова это почему-то задело: «О чём, интересно, они теперь собачатся? Очевидно же, обыкновенные слова употребляют, бранные и про-

чие. А вот непонимающему может показаться, что всё очень значительно, неординарно, чуть ли не удивительно...»

Однако вскоре вновь перешли на русский:

– У тебя язык вперед головы высунулся!

– А, по-твоему, он позади должен висеть?

– Повторяю: держи язык за зубами, не то можешь лишиться и языка и зубов!

– Ой-ой, тю-тю-тю!

Неподалёку от центра действия, в тусклом освещении, угадывалась деревенская баба в платке, у её ног громоздились чемоданы, баулы, сумки. Её поза выдавала напряжение, точно она ожидала своего выхода. Вдруг, как по чьей-то команде, она пронзительно закричала, и сразу на неё будто направили луч света:

– Да отдайте ж человеку номерок! Зачем вы издеваетесь!?

Очкарик поспешно кинулся к ней, но, не добрав шагов пяти, остановился и, призывая жестом в свидетели и вроде торжествуя, воскликнул в сторону своих обидчиков:

– Ты видела, видела, тётка?!

– Видела, видела, родной!

– Взял мой чемодан и не отдаёт!

И тут парень в спортивном костюме подбежал к неожиданной свидетельнице торопливыми мелкими шажками и, жестикулируя перед самым её лицом, заорал грубым басом:

– Что ты видела, что ты видела, дерёвня?! Глазастая больно! Не наколись! Сова! Мало тебе своих забот?! Устроим! Взвоешь!

– Чё-о ты на меня прёшь! – не испугалась тётка. – Всё видела! – и завопила ещё громче и тоньше: – А-а-а! – так что кладовщик отшатнулся и, плюнув, побежал к своему окну и прыгнул сходу через прилавок внутрь.

– Что ты мне тычешь в нос грязными лапами, мародер! – неслоь ему вслед. – Он ещё будет угрожать! Тычет, гад! Ишь!

Очкарик, воодушевившись неожиданной поддержкой и воспользовавшись общим замешательством, подскочил к тому мужику, кто, вероятно, являлся его главным обидчиком, и смазал ему ладонью по физиономии. Пощёчина получилась на славу театральной – эффектной, звучной. Мужик слегка отвалился к прилавку, в изумлении как бы, и затем, оправившись и взревев по-бычьему, ринулся к очкарику, сграбастал его за отвороты куртки:

– Ну-ка, стервь, шагни за мной!

Он выволок очкарика, упиравшегося, на самое освещённое пятно и, толкая в грудь, всё повторял:

– Ты меня за что?! Ты меня за что?!

– За-а дело! – отвечал тот каждый раз, удерживая здоровяка за волосатые запястья. Резким движением напиривший высвободил руки, быстро отклонил корпус назад и, точно крутанув кувалдой, ударил (чпок!) очкарика в челюсть. Удар получился настолько мощным, что Миронов вмиг утратил иллюзию представления. Очкарик дёрнулся и, попятившись, сел на асфальт, затем повалился на спину. Оглядываясь на поверженного, кладовщик поспешил прочь, бросив на прощанье реплику:

– По харе меня вздумал! По-настоящему! Щ-щегол!

И скрылся за табачным киоском.

Деревенская баба зашлась визгом, взывая к прохожим:

– Они его убили! Бандиты! Помогите ж ему!

Она, возможно, и сама бы кинулась на помощь, но очевидно опасалась за свои вещи.

– Всё в порядке, – прогудел один из хозяев камеры хранения. – Заткнись! – И тут же сгинул в недрах хранилища.

Очкарик между тем зашевелился, сел, опираясь на руки, с выражением недоумения на лице огляделся.

– Я вижу, вижу, какие у вас порядки! – не унималась баба, и все остальные свидетели, точно не в силах перенести её истошные вопли, тоже стали исчезать.

Шедший мимо мужчина в шляпе, привлечённый её криком, остановился и, не выпуская из одной руки рюкзак, другой стал помогать нокаутированному подняться. Тот кое-как утвердился на ногах и сразу взялся за лицо:

– Очки! Где очки?!

Мужчина подал ему останки – поломанную пластмассу без стёкол. Парень повертел обломки близко перед глазами и отшвырнул в сторону.

– Вот шмара! Оптику расколос! Импортную!

Мимо как раз проходил сержант с портативной рацией на боку.

– Товарищ милиционер! – окликнула его тётка. – Защитите человека! Что за порядки на вашем вокзале? Грабуют, гробуют!..

– Ладно врать-то! – донёсся голос.

Началось разбирательство. Пострадавший бубнил про не выданный багаж и разбитые очки в дефицитной оправе, тётка, не отлучаясь от своих вещей, твердила про хулиганов, мужчина в шляпе пожимал плечами и озирался во все стороны, из камер хранения подавали реплики кладовщики. И сержанту ничего не было понятно. Он взял бывшего очкарика под локоть и предложил пройти в отделение. Тогда тётка закричала опять:

– Не тех берёте! Вы, слуги народные!

– Да заткнёшься ты, наконец?! – обратились к ней из окна. – Не на базаре, чай. Привыкла орать. Не видишь разве – он в дупель! И тебя вместе с ним надо на допинг проверить – одна шайка-лейка.

– Разберёмся, – сказал сержант и свободной рукой поправил фуражку. Было ясно, что ему хотелось поскорей прекратить все эти бестолковые, по его разумению, препирательства.

– Я вижу, вижу! – не унималась тётка. – Все вы тут заодно! Но не на таковскую напали! Я вас выведу на чистую воду! Я сама могу хошь кому врезать!

Сержант увёл побитого, лепетавшего что-то в своё оправдание непослушным языком. освещённая площадка опустела. Миронов глянул на часы с чувством удовлетворения от нескучно проведённого времени. «Везде и всюду выясняют отношения... – Поднялся, сложил газету, сунул в карман и отправился побродить, размяться. – Грустно, досадно, но... что ж теперь...»

Минут двадцать у остановки такси наблюдал за торгом пассажиров с «ночными бомбардировщиками». Едва не соблазнился «махнуть моторным способом» до дому, но без попутчиков дорога обходилась дорого, да и ехать если, сразу надо было, теперь же каких-то пару часов оставалось до первой электрички. И, купив ещё банку джин-тоники, он отправился «на своё место в партере» в надежде развлечься новым представлением. Но освещение у камер хранения погасло, да и кресла были уж заняты. Тогда, сразу почувствовав усталость, он двинулся вдоль жестяного забора, отгораживающего строительные леса одной из стен вокзала, и нашёл местечко на лавочке рядом с юношами, по виду недавними выпускниками средней школы. Из их разговора понял, что ехали они к одноклассникам в какой-то молодёжный центр, но замешкались и вынуждены теперь кантоваться под открытым небом. Причём, это обстоятельство их нисколько не удручало, даже напротив – они испытывали удовольствие от такого времяпровождения. У каждого из них дома осталась некая распря с родителями или же они для пущей важности напридумывали себе сложностей. И вот как бы то ни было, они чувствуют себя свободными, в меру голодными и бездомными и оттого, очевидно, счастливыми.

Ефиму Елисеевичу вдруг вспомнилось, как он семнадцатилетним юнцом ездил домой почти каждый выходной из города, где учился. И как сладко теперь, как томительно приятно

возвратиться в те одинокие и неприкаянные ночи, которые он проводил, бодрствуя, на слабо освещённом полустанке.

Обсудив свои дела, ребята стали позёвывать, пряча озябшие руки в карманы, а подбородки – в воротники своих курток. Затем принялись обсуждать тему ночлега где-то поблизости в недостроенном здании.

– Ага, – возразил один, – извозиться, что ли, в извёстке захотели? Меня и так мать замордовала гладильной доской.

– Да подстелить газету. На подоконнике.

– И коротко и ясно, как сказала бы наша училка. А если свалишься, и даже не на пол, наружу?

– Ну не хочешь и не надо, а мы пойдём.

И трое ушли, а один остался, посидел-посидел и растянулся на освобождённой товарищами скамье. Ефиму Елисеевичу сделалось грустно, и вспомнилась утреннюю запись в дневнике: «Что-то не так было с самого начала в нашей эпопеи. Опуеи. Что именно?»

«Живи на яркой стороне» – мигала реклама на крыше дома.

«Угу, живу... вернее, стараюсь».

Затем подумал о том, что сказал ему друг Волоха о рукописи, которую Миронов дал ему на прочтение месяц назад. Почему он решил высказаться сегодня – в застолье после презентации собственной книги? Причём, с крайней обидой...

– Когда я такое говорил?! – спросил он.

– Но там же нет твоей фамилии, – возразил Ефим Елисеевич. – Разве прототип и персонаж суть не разные типы-особи. Разве нет?

– Но я же реалист, Ейей, я читаю и реально вижу... и узнаю себя. И другие узнают.

Миронов подумал: «Ишь ты! Каждому хочется, чтоб его сделали позолотистее...»

– Кроме того, – продолжал Волоха, – адюльтера многовато. – И высказал пожелание коснуться глобальных проблем, а не толочь в ступе мелкотемье: – А где же о добре и зле? Хоть как-то твой персонаж должен изменить мир к лучшему?

– Ну... знаешь, не всем по зубам глобальные-то...

– Но хотя бы помечтать он способен о великом деянии! Как сделать мир совершенней и справедливей? Неужели и это не волнует? А что у тебя? Разборки, разборки... из-за чего? Куда ни кинь – всюду клин: одно и то же, одно и то же – вопрос полов... как всё мелко, мелко, точно кто-то всё время хочет отвлечь, увести нас от главных вопросов – о душе, о духовности, о справедливости, наконец. Заказ какой-то, Ейей... Чей же?

Он был убедителен, Волоха, но сейчас Миронов подумал вдруг: «Но как же так? Как быть, к примеру, с „Мелким бесом“ Сологуба, да и с гоголевским „Как поссорились Иван Никифорович с Никифором Ивановичем“... да и вообще – что это такое: мелкотемье? А „Гробовщик“ Пушкинский, его-то куда определить? А?.. Экое, однако, странное определение! Мелкотемье!»

И вообще чувствовалось, что обида стоит тут на первом месте, а всё остальное подвёрстывается. И этот его выдох: «И когда я такое говорил?»

Всё же Миронов попытался возразить ещё:

– Читатель не дурак, сам разберётся. Возьмёт твои книжки и посмотрит: говорил ты или не говорил. Ты и презентацию для этого устроил. А чужая сатира способна лишь привлечь внимание к твоему творчеству, разве нет?

– Увы, вряд ли.

Как всё же обида искажает восприятие. Неимоверно.

Дальше думалось так.

«А может, ты сам пребываешь в заблуждении относительно своих дарований – ума или таланта? И вдруг рядом оказывается поистине умный и талантливый. Ты даже скукоживаешься

и впадаешь в растерянность. И впору глотать валерьянку. Зависть начнёт и тебя самого поедом есть... или прозрением ограничишься? Та-ак, куда это меня повело?»

Но мысль раскручивалась дальше сама собой.

«А в это время – в ком-то совсем рядом с тобой — копится зависть и злоба, зреет месть. Стылые зрачки следят неотрывно – за каждым твоим шагом. Почему? Если уж ты ничего особенного не представляешь из себя? И ничего не делаешь худого, никому в ущерб? Тогда за что?.. Ну, это я уже совсем не о том! Как это всё невесело. Даже ретроспективно, даже почти уже со стороны – всё равно не весело. И больно».

Вскоре, однако, Ефим Елисеевич задремал, а проснулся оттого, что продрог и от громкого говора и драчливо-визгливого лаем мелкой собачонки. Уже светало. Наступило то время, когда воздух на глазах превращался из тёмно-прозрачного в серо-голубой, вроде как чем-то запорошенный. И в природе воцарялось умиротворённое равновесие: ни ветерка, ни гомона птиц, ни какого-либо другого звука... Пробуждение. И этот зыбкий миг был, к неудовольствию нашего персонажа, нарушен. «Какого чёрта!.. Бывают же дни... всё-всё тебя раздражает: и электричка гудит, и эскалатор скрежестет, и на пятки наступают нарочно... Ну всё буквально! Будем тогда и мы также нарушать правила... по всем правилам!»

Трое пьяных, в одном из которых Миронов узнал здоровяка-боксёра – он волок за собой чемодан на колёсиках, – шли по перрону, покачиваясь, и сопровождала их белая болонка, бросающаяся подряд на всех встречных-поперечных.

– Фас, фас! – науськивал её здоровяк и даже, оставив чемодан, подбежал, дурашливо косолапя, к одной из девушек, стоявшей у временного вагончика-кассы, и, наклонясь, подёргал её за розовую брючину. – Её тоже фас!

Вместо этого собачонка залезла в пакет из-под печенья с ногами и хвостом.

– Шта-а! – гудел здоровяк. Не торгу-уют?! Щ-ща-ас! – И он погромыхал кулаком по железному боку вагончика. Изнутри тут же откликнулся женский голос:

– Милицию вызову!

– Меня-а?! – взревел здоровяк. – Милицией пугать! – И, отходя, лягнул вагончик каблучком. И в этот момент к нему быстрой заплетающейся походкой приблизился знакомый парень в кожанке и стал энергично говорить что-то, пытаясь при этом дотянуться до чемодана. Здоровяк несколько раз его отпихнул, а затем, негодуя, взыв: «Ах ты, падла привязчивая!» – ударил парня в лицо. Тот повалился навзничь, и на него, захлёбываясь визгом, набросилась болонка.

Миронов осознал, что уже не сидит на скамье, а приближается к месту действия. Редкая публика между тем расступилась, точно прижатая центробежной силой к заборам и углам. Сбитый же с ног парень, медленно поднимаясь, отмахивался от наседавшей на него собачонки. Наконец отшвырнул её довольно удачно, и она, завизжав, завертелась волчком.

– Ах ты, тва-арь! – рявкнул один из кладовщиков. – Животную забижать! – и скакнув к парню, пнул его под рёбра. Двое других тоже врезали поверженному по пинку...

Миронов ударил здоровяка носком ботинка по голени, и едва тот согнулся, уже левой ногой в лицо опрокинул на асфальт. Тут же короткими ударами с левой и правой руки уложил и собутыльников.

– Беги! – почти на ухо крикнул поднышавшему на ноги парню и подтолкнул в плечо. Тот бросился к чемодану, схватил его и зигзагами поволок по перрону. Миронов побежал в противоположную сторону.

За вокзальным зданием Миронов перешёл на быстрый шаг и... столкнулся с бывшим очкариком нос к носу. Тот, по всей видимости, обежал вокзал с другой стороны.

– О! – вскрикнул тот. – Как хорошо! Отблагодарить тебя хочу! – Он повалил чемодан на бок, открыл его и, выхватив сверху какую-то коробку, протянул своему заступнику. – Бери! Ценная вещица, будешь доволен!

– Да что вы... – смутился Миронов. – Не надо. Не-не...  
– Обижаешь, старик, – сказал «очкарик». – Бери! – и, видя, что его спаситель-выручальщик упирается, прибавил: – Это всё равно не моё – я сам этот чемодан стибрил...  
«Ну... и чем не анекдот? – спросил себя, немного погодя, Миронов. – Вполне годится для моего сборника...»

Ефим Елисеевич Миронов уже давненько коллекционировал анекдоты. И когда набралось изрядное их количество, стал он подумывать: а не сварганить ли из них нечто годное для бойкого издания. Придумал уже и рабочее название: «Пособие по сочинению анекдотов». Примерил даже эпиграф из юмористического альманаха «Мужи и музы», а именно: «Все мы умные, пока не оказались в дураках». Набросал и болванку предисловия, вот она: «Я и сам, знаете ли, иногда сочиняю анекдоты, ей-ей! Невесть какие, правда, и тем паче невзначай. Где-нибудь на ходу. Глянешь рассеянно по сторонами на что-нибудь да наткнёшься. Ну, например:

– Мама, отгадай: с бородой и жвачный.

– Козёл, – отвечает мамаша без запинки.

– А вот и нет, а вот и нет! – радостно хлопает дочка в ладоши. – Дядя Коля, дядя Коля! Он всё время жуёт! И борода есть!

– И?... – спрашивает мамаша после небольшой заминки. – И какая разница? – скорее себя спрашивает, чем дочь.

Но кто ж поверит, что это я сочинил? Я и сам себе в подобных случаях не доверяю. Скорее всего, в серой подкорке мозга застряло когда-то, а теперь выскочило на поверхность и я пытаюсь выдать за своё... Ну, может, в некоторой своей интерпретации. Но всё равно: «Каково?!» – скажете. И будете, по-видимому, правы.

Но – к делу.

Для того чтоб некий случай превратить в анекдот, надобно, дорогие мои, лишить этот случай натуралистических подробностей. Ну, не всех, конечно...

Вот написал абзац и задумался: собственно, разговор не о том лаконичном жанре (который, в конце концов, шлифует сама жизнь, то есть множество рассказчиков-соавторов, друг друга никогда в глаза не видавших), а веду я разговор именно о тех житейских эпизодах, упомывая на которые, каждый из нас хотя бы раз да воскликнул: «Ну, чистейший анекдот!» Впрочем, любой из нас волен думать, как ему угодно... вернее, удобно...»

Кстати, обратили внимание на инициалы Миронова – Е.Е? А также на его «ей-ей», употреблённое им в предверие анекдота? Так вот, в известных кругах его так за глаза и называют, например: «Ну и куда подевался наш Ейей?.. И выпить не с кем».

И вот ещё... Верно, вы уже подумали: а для чего нужен комментатор-рассказчик, если Миронов и сам-сусам? А вот для чего. Ежели Ейей предпочтёт рассматривать всё вокруг как сплошной анекдот – есть у него такая блажь-причуда и тяга к этому, – так вот нам выпала задача выправлять его «перегибы» в более или менее объективную сторону.

Усмехнулись, да? Что ж, рады за вас.

## 2.

Да, помимо всего прочего, с нашим знакомым Ейей случился занимательный казус – он влюбился в героиню своего романа... ну того самого романа, который так не понравился другу его Волохе.

Ну, понятно, любой сочинитель должен любить своих персонажей, в противном случае они не заинтересуют и читателя, не увлекут попросту, поскольку будут источать холод, как киборги. Но тут произошло нечто большее. Ему так захотелось, чтобы Алевтина (так звали его героиню) существовала на самом деле, и чтобы с ней можно было пообщаться в действитель-

ности – взять её за руку, заглянуть в глаза, вдохнуть запах волос... В общем, он затосковал... затосковал столь крепко, что решил: лучше, во избежание психических заморочек, уничтожить плоды своего воображения, то есть взять да и «грохнуть», убить в компьютере весь этот текст.

И пока он этого не сделал, давайте посмотрим, что такого особенного он понаписал. Любопытно всё же. Тем более всё же кое-кому (Волохе) уже не понравилось его произведение. Может, он, – Миронов-Ейей, в самом деле ненормальный, раз пленился своей выдумкой. Ну, сбрендил. Бывает же. По нашему разумению, жизнь сама по себе гораздо богаче и сочнее, чтобы предпочесть ей плод своей собственной фантазии.

Итак, несколько кусочков из его опуса.

«Ничего особенного во внешности Алевтины вроде бы не было, но когда она начинала говорить и при этом двигаться – «ручками вот так – вот так», бёдрами туда-сюда, туда-сюда, – то становилась удивительно мила, точно малый ребёнок, не ведающий притворства и всяческих уловок, ещё неиспорченный воспитателями – одним словом, первозданная непосредственность. И ей самой тогда казалось, что весь мир создан только для неё (да! именно для неё создан), стоит только захотеть, и... снег полетит громадными хлопьями, лишь бы доставить ей удовольствие. Птицы запоют райским голосами – лишь бы её ублажить...

Это трогательно было наблюдать со стороны.

Да, суть её обаяния заключалась не в одной лишь красоте внешней, а – в притягательности, каковую можно объяснить разве что сочетанием множества качеств и признаков. Открытостью, бесхитростностью, приязнью ко всему живому, врождённой игривостью, живостью характера, магнетизмом голоса и глаз, что в целом называется – ощущением себя центром мироздания. Как обожание самое себя и, одновременно, искренним участием и заинтересованностью в своём ближнем окружении. Окружающие это чувствовали и тянулись к ней. И женщины и мужчины. Женщины – как к лидеру или наперснице, мужчины – как к сексуальному, пленительному объекту, не понимая зачастую, что вовсе не это в ней самое главное, хоть далеко и не самое последнее.

И ещё. В её натуре преобладала любая крайность... да, пожалуй. В том числе и крайность чувств и ощущений. Если она, грубо говоря, ела сыр, то наедалась от пуза, если пила квас (?) ... ну или газировку, то, опять же скажем без комплиментарности, напивалась до такой степени, что её начинало покачивать, как от градуса. Если вступала в спор, то – до ломоты в затылке... и в выборе цвета одежды – например, предпочитала чистые тона, без всяческих разводов и цветочков. То есть так во всём... Короче, это был фонтан-бурлеск, водоворот горной речки, который увлекает всё на пути попавшееся. Извержение вулкана... последнее всего точнее. Потому что – раскалённая магма, природная стихия, с чем нельзя справиться.

Так было и в любви... В самой атмосфере сразу менялось что-то. Сравним с тучей? С тучей, насыщенной электричеством. Если заряд этой тучи совпадает с твоим зарядом по направленности, то тебе хорошо, уютно, комфортно, как теперь выражаются по любому поводу; если нет, не совпадает, то – увы! – хуже некуда...»

Далее пропустим (тем более что текст ещё недостаточно отшлифован – очевидно, эмоции до сих пор переполняют автора и не позволяют ему хладнокровно употребить свой редакторский навык) и прочтём другой отрывок, дабы прояснить, в какой общественной среде сочинитель Миронов вообразил свою героиню. А то и в самом деле кто-нибудь решит: не оба ли шизофреники – и тот и другая?..

«Дело, очевидно, не в том, чтобы точно проговорить название организации. Важнее подметить некое сходство с другими. Ну, скажем: Объединение композиторов – и что? Или содружество художников? Журналистов? Писателей, наконец, как в нашем случае? Да и вообще –

в названии ли дело? Что их роднит – союзы эти? Сразу приходит на ум – их объединяет творческая составляющая профессии, не правда ли? С другой стороны, любая другая профессия также может быть причислена к творческой, если человек, ею владеющий, – творец... Так что, может быть, остановимся на самом что ни на есть простом названии? Организация. И всё. А руководителя этой организации будем величать запросто – председатель. Как в правительстве или в сельскохозяйственной фирме. Коротко и ясно. Как говаривал один персонаж из анекдота, укладываясь на подоконник: «Главное, не вывалиться за окно, наружу». А так, что ж, действительно: и коротко – поскольку ноги девать некуда, не умещаются, и ясно, как в божий день – от Солнца днём или от Луны – в полночь, а то и от фонаря на столбе за этим самым окном, – никакой разницы. Что же касается наркома Луначарского времён революции и нашего председателя Луначарского, то тут простое совпадение. Вернее, у нашего председателя фамилия другая, но после того, как он высказался на очередном банкете по поводу современного литературного героя, к нему и прилипло это прозвище. А выразился он примерно так: у Лермонтова, дескать, герой уже нарисован – ну и достаточно. Зачем вам нужен новый-то герой? Это всё Чары луны и не более того. Ну, придумаете вы нового героя, так завтра же из него сделают штамп или того хуже – идола, и подражать начнут. А зачем это нам нужно – в наш-то век сплошного подражательства?хлопотно это всё. Надо просто иметь в виду, что всякий, кто родился на белый свет – уже герой. Не так-то вольготно на этом свете. Пишите, о ком хотите, только хорошо пишите. А то всё лепите под кого-то: под Толстого, под Набокова... И наслаивается, и наслаивается одно на другое, так что и не разберёшь потом, кто на пьедестал запрыгнул! И тогда свергать начинаем, с корабля современности сбрасывать... А ведь не в этом литературный процесс заключается, не в этом. Всё это именно лунные чары и не более того...

Вот с этого – ироничного, с полемического, так сказать, уклоном, – и появился второй Луначарский. А может, и сотый, тысячный... мы любим, повторю со специальным нажимом, штампы, нам как-то с ними уютнее, привычнее. Даже возвели в ранг бренда. Чем и пользуется, кстати, современная реклама. Так вот Луначарский – да, Федот Федотыч. И кто-то непременно прибавит: Федот да не тот».

А Миронов – между тем, как мы были заняты чтением его (вполне возможно, не бесталанного) опуса – шёл по вечернему городу и злился на себя и на весь белый свет, потому что свет для него в ту минуту был серым. Ему хотелось напиться, надраться, так сказать, но пока он ещё не решил, с кем именно. Пить в одиночестве, рассуждал он не особенно оригинально, есть дело последнее. Однако согласитесь, предусмотрительно – алкоголизмом нынче запуганы не одни творческие работники, – что ни купи – всюду прочтёшь, хоть на пачке с сигаретами, хоть на бутылке: убьёшь себя, родной ты наш, коли не меру употребишь. «Другой вопрос, – рассуждал Миронов по инерции или по привычке, – растиражированное словцо (на пачке или бутылке) также, говорят, способно сотворить психологический срыв в человеке... так что, глаза завязывать?»

Его обогнал паренёк. Миронов с запозданием угадал в нём девчонку, одетую под мальчишку... Она обернулась и сказала:

– Там впереди крутая горка, очень скользкая.

Миронов кивнул.

Девчонка стала спускаться с пригорка, опять оглянулась на угрюмого прохожего и улыбнулась:

– А я с работы иду...

И Миронов вдруг понял, что эта дурочка счастлива. Счастлива тем, что её взяли вот куда-то там на работу, и, значит, она кому-то теперь нужна. И сейчас ей не терпится поделиться этой

своей причастностью, своей удачей со всяким встречным, – по её меркам, удачей неопишуемой. Потому что наполнена счастьем она, что называется, до краёв...

«А ты вот признайся, – укоризненно выговорил себе Миронов, как бы очнувшись и вынырнув из своего омута переживаний, – признайся уж, – подумал ведь, в первый момент, признайся, подумал же: „Чёрт бы тебя побрал со своими новостями!“ – Ведь так?.. Да, где уж тебе понять её радость. Она-то счастлива, а ты – уже разочарован... Ты уже забыл, что такое счастье».

Заметим от себя: не Бог весть, какое наблюдение. Уж не кокетство ли это перед самим собой?

### 3.

Миронов решил, наконец, с кем ему расслабиться, и завернул в организацию – к Волохе. Хотя с Волохой – это всегда риск. Потому как с ним всякий-то раз Ейей попадал если не в историю, то в анекдот точно.

Кое-что он уже разместил в своём «Пособии...»:

«С моим приятелем В. я вечно попадаю в истории... Так что даже стал при встрече с ним мысленно, а то и вслух проговаривать: «Фирма веников не вяжет!» – как бы вместо заклинания: чур меня, чур тебя. Пример? Пожалуйста. Вот давеча...

Что-то он тащил в обеих руках – какие-то тяжеленные пакеты – и вдобавок под мышкой зонт с этакой массивной ручкой-закорючкой, который у него то и дело выскакивал да ещё открыться норовил. Предлагаю: давай помогу. Да ладно, говорит, не тяжело. Ты зонтик лучше возьми. Ну, я взял да и сунул в целлофановый пакет-сумку. У метро расстались. А ближе к эскалатору меня тормозят:

– Пр-рашу в-вас пройти с-со мной.

Я особо никогда и не взбрыкивал, когда ко мне власти обращаются да ещё так вежливо. Даже если и в облике малорослого сержанта. И даже если у самого турникета, через который можно, в сущности, перемахнуть да и дёру дать. Лишь подумал: интере-есно. Мульён раз в любом виде – в смысле, при любом градусе – хаживал в это метро и ничего, сходило. А тут нате вам – просим любезно.

Сержант ввёл меня в небольшое помещенье, и там, под прикрытием другого – более крупного милиционера – принялся обыскивать.

– Это ч-что? – спросил он, осторожно так переворачивая в ладонях мою целлофановую сумку, накрученную на зонт. – Эт-то зонт? – и сразу, знаете, заметно расслабился и потерял некий, что ли, интерес. И заикаться, кстати, перестал.

– Зонтик, зонтик, – говорю, – конечно, – и про себя уже прибавляю: «Ну не автомат же». И тут же меня осеняет: «Во-от оно чего!»: За террориста приняли. Ну не смешно? А сержант между тем покрылся канапушками (кровь, видимо, вернулась в прежнее русло) и молвит: ну ладно, посиди пока – отдохни уж маленько, коль взяли тебя под белы руки... на всякий случай. Что-то, мол, брагой пахнет от тебя, браток. Приди в себя мал-мал. И на всякий случай я у них там за решёткой провёл час – не меньше, пока они с другими «террористами» разбирались, в основном тоже поддатыми недотёпами.

И кто ж виноват, по-вашему? По крайней мере, мой собственный зонтик ничьего внимания никогда не привлекал.

А в прошлом месяце получилось чего. Сидим с ним тихо-спокойно за столиком в клубе писателей, не бузим, умно так за жизнь рассуждаем. Так нет, подваливает Марат Ка. Выручайте, говорит: к ним кандидат в депутаты на студию не приехал, эфир горит и денежки тоже. Мы спрашиваем: можно ли там у него добавлять – и щёлкаем себя по кадыкам – по мере,

так сказать, угасания разговорной энергии? Он: да сколько угодно, только перелейте в посудину из-под минералки, а то наш режиссёр удавится от зависти. Попёрлись. И лишь по ходу дела выяснилось, что за депутата мы подменили и за какую он платформу баланду травить собирался. Марат нам: «Говорите, что хотите, только платформу не пятняйте». Волоха успел домой позвонить, чтоб жена диктофон включила, так что я после имел возможность послушать. А говорили мы почти час. Ну, у Волохи-то всё нормально, он человек с учёной степенью, а вот я какую чушь порол!.. сразу и не сообразишь, что к чему.

Или такой случай. Буквально накануне наш президент по телику обращается к международному сообществу: мол, уговорите, братцы, моего друга Билли, чтобы он, панымаш, не бомбил Югославию... Тут к Волохе в редакцию является молодой вьюнош из Белграда с предложением написать для журнала статью. И натурально прилипает: кресло на колёсиках придвинул вплотную и всё мурлычет, мурлычет – рассказывает содержание будущей статьи. Волоха, по виду, уже изнемог – он человек интеллигентный, корректный и порой чересчур мягкий, дабы решительно обозначить финал переговоров. Впрочем, гость всё же из Сербии, симпатии к которой мы не скрываем.

Я когда вошёл в комнату, мне показалось, что Саша (так звали гостя) несколько не в себе – а проще говоря, не совсем нормальный. И такие, знаете ли, забредают иной раз в запахнутые настесь редакции. И отвязаться от них бывает проблематично. Возьмёт да и хлопнется на пол, пену изо рта пустит, заблажит чего-нибудь. Канителься потом. Вот я и подумал: случай из подобных, – поэтому присел на свободное кресло, осторожно разглядываю визитёра. Нет, однако, рассуждает здраво, только акцент сильный, да и выпивши...

Потом Волоха не выдержал-таки и отлучился – в надежде, очевидно, что белградец растворится в пространстве. Не тут-то было.

Не буду имитировать его акцент, ни к чему.

– Я хочу пригласить вас отметить наше знакомство. А чего, я плачу... или правильно плачу?

Волоха отказался, мотивируя тем, что отмечать, собственно, пока нечего, вот когда будет перед ним статья или рассказ, он прочтёт, оценит.

– Раньше-то какой смысл? К нам навевываются и очень давние наши авторы и то мы никого загодя не обнадеживаем. Смотрим, советуемся, обсуждаем, коллегиально выносим... так сказать.

– Это я понимаю. Это правильно. Послезавтра я приношу вам текст, вы его читаете и сообщаете мне своё мнение. Раньше этого как же, конечно. Как же, я всё прекрасно понимаю. А сейчас я просто предлагаю отметить начало нашей дружбы. Вы русские, я серб. Мы почти братья. Я только прилетел из Белграда, мне очень приятно быть рядом с друзьями.

Он ещё долго говорил с характерным акцентом, прохаживаясь перед нами туда-сюда, наконец, иссяк и деловито спросил:

– А когда вы заканчиваете работу?

Волоха, как мне показалось, с облегчением ответил, что не скоро, в шесть, не раньше.

– О-очень замечательно, – сказал гость и стал надевать свою куртку, – в шесть я тут как тут, штыком. Я правильно сказал: штыком?

– Как штык, – поправили мы его.

И он ушёл, а мы освобождённо вздохнули, как вздыхают после ухода назойливого человека, которого и выгнать-то нельзя уже хотя бы по той причине, что текст его может оказаться... ну не выдающимся, но очень, возможно, своевременный, памятуя о балканских событиях – злободневным, актуальным – пользуясь газетным языком.

Словом, мы забыли о нашем прилипчивом белградце – чего уж там, он был под хорошей мухой. Хлопнет сейчас ещё пару стаканчиков (кажется, в писательский клуб отправился)

и вряд ли, вряд ли уже появится сегодня. И мы сидели себе, разговаривали, проблемы кое-какие обсуждали, а в шесть часов позволили себе и выпить, после чего разговорились ещё основательней.

И тут вновь... да, представьте, белградец. Собственной персоной. Вошёл, будто к себе домой уже, подсел к нам за столик, обласкал маслянисто-хмельным взором серо-водянистых и каких-то немного утомлённо-пустоватых глаз, развязно осведомился:

– Ну-тес, дорогие мои русаки... или рус-сичи?.. опять я с вами, – вытянул при этом из кармана плоскую бутылку коньяка и, сделав пару глотков (не отравлено, дескать), поставил её между мной и Волохой. – За доброе ваше здоровье. Теперь, когда пробило шесть часов, я надеюсь, вы не откажетесь от моего приглашения сходить в ресторан. Или правильнее пойти? Вы не должны мне отказать, не имеете права. Я правильно говорю?

Волоха посмотрел на стоящий перед ним коньяк, поднялся из кресла, прошёлся по кабинету, чуть пригнувшись и теребя себя за подбородок – так он обычно выхаживает собственное мнение в щекотливом вопросе.

– Не знаю, право, – он посмотрел на меня, и я чуть заметно пожал плечами: решай, мол, сам, он к тебе пришёл. Но, видимо, одному с незнакомцем Волохе идти не хотелось. А вот выпить ещё хотелось. Мы ведь уже причастились, а это дело такое – требует некоего завершения, в некотором роде разнообразия: друг друга-то мы уже лет двадцать знаем, а тут незнакомец да какой – из Белграда, по которому друг нашего президента Билл вот-вот засадит «томагавками». Волоха почесал висок, сделал по вытоптанному ковру ещё пару петель и обратился ко мне уже напрямик:

– Ну, ты-то, Фима, как на это смотришь? Текста, конечно, ещё нет... но обговорить параметры разве...

– Ребята, вы меня обяжете. Я тут совсем один, не с кем слова перемолвить... я имею в виду по-дружески...

И вот мы шагаем по Большой Никитской к Садовому, то и дело перестраиваясь ввиду встречного людского потока, Саша без умолку болтает. И вдруг я обращаю внимание на то обстоятельство, что говорит он совершенно без акцента. Выразительно гляжу на Волоху, он кивает в знак того, что также заметил сию метаморфозу.

– Хо-хо, – говорю, с иронией заглядывая сбоку в Сашины глаза, – любопытно, на чью разведку, сэр, вы работаете?

– О-о! – Саша ничуть не смущён, залиvisto смеётся и несколько раз кивает – дескать, понял свою оплошность. – Я с акцентом могу говорить хорошо так же, как и без акцента. Впрочем, как и на английском, и на немецком. Что же касается моей принадлежности к разведке – так я из Белграда. Майор предупреждал меня: не переигрывай, а я вот-с...

Мы с Волохой вновь переглянулись, но продолжали следовать в намеченном направлении – сказывалось, очевидно, и выпитое, и извечное – чёрт бы его побрал! – любопытство. Ну! В кои-то веки на разведчика напоролись. На молодого, неопытного, но всё равно – настоящего... Это же не в кино, это в жизни!

– И в каком же ты звании, дружище?

– Всего лишь пока лейтенант.

– Ну ничего, какие наши годы.

А вот и ресторанчик. Пожалуй, даже кабачок скорее. Тихо, хотя зальчик почти полностью заполнен. Саша ведёт себя по-хозяйски, с официантом разговаривает по-сербски (вероятно). Заказывает водку, салаты. Мы пьём за Сербию. Затем Саша показывает небольшое фото молодой женщины с девочкой на руках.

– Моя дочь. Я официально не женат, но от дочери не отказываюсь. Разведчику лучше без семьи.

– А давно ты оттуда?

Саша подзывает официанта, заказывает сигареты «Парламент», закуривает, неожиданно надменно говорит, глядя в упор на Волоху:

- А всё же вы, русские, нас предали.
- Но может быть, не мы, а руководители наши?
- Э нет, не финти. Официант, огня!

Официант невозмутимо подходит, чиркает зажигалкой.

- Ещё водки!

Саша поднимается из-за стола и зачем-то идёт вслед за официантом.

- У тебя деньги есть? – спрашивает Волоха. Я говорю, сколько у меня. – Может, уйдём?

- Мы должны идти, Саша, – говорит Волоха, когда наш белградец возвращается.

– Э, так не пойдёт. Вы мои гости. Здесь. Эй, – он обращается к сидящим за соседним столиком, – огня! – И что-то добавляет по-сербски. Ему передают зажигалку. Я тоже закуриваю и начинаю разглядывать посетителей в зале. По-прежнему тихо (только мы одни, кажется, и нарушаем эту давящую тишину), остальные переговариваются шёпотом, и я думаю, что тема у них сейчас одна: нападёт НАТО на их страну или... Красивая женщина у окна взглянула в нашу сторону и сразу опустила глаза...

– Ну вот я лейтенант, – говорит между тем Саша и снимает с Волохи очки, кладёт на стол, – а ты... даже ничего и не видишь.

Мне никогда не нравилось, если с человека бесцеремонно сдирают очки, поэтому говорю:

- Ну а я старший лейтенант...

– И командование переходит к нему, – находчиво прибавляет Волоха, водружая свои очки на нос Саше. Саша тяжело смотрит на меня через ненужные ему стёкла, берёт вилку с таким видом, будто собирается идти с нею в атаку, затем, помедлив, начинает жадно есть помидоры.

- А всё же вы дерьмо, ребята, – говорит, пережёвывая.

- Да-а, – смотрит на меня Волоха, – нам, действительно, пора.

– Друг, – говорю я Саше: – ты смотрел фильм... есть у нас такой – «Бриллиантовая рука» называется, смотрел? Там, если человеку пора, например, умыться, то ему говорят: клиент созрел. Пойдём водички хлебнём.

- Иди, я сейчас.

Захожу в туалет, быстро оглядываю чистенькое помещенье, соображаю: затолкать его головой в унитаз мне вряд ли удастся... крепкий парнишка. Так что, может быть, сразу в челюсть вмазать?.. Однако Саша так и не появился, и я вернулся в зал, сел за стол.

- Ну и куда подевался этот фрукт?

Волоха кивнул в сторону гардероба, откуда доносились голоса – нашего знакомца (достаточно громкий) и чьи-то ещё, приглушённые.

- Однако наш разведчик надрался.

- Да не такой уж он и пьяный. Не шатается, по крайней мере.

- Подготовка кадрового военного. Пойдём?

Мы подошли в тот момент, когда Саша схватил официанта за грудки и что-то ему зло вщёпывал по-сербски (вероятно). Мы вмешались, встав между ними.

- Ты меня знаешь?! – обратился Саша к гардеробщику, подававшему мне куртку.

- И знать не желаю, – ответил тот.

- Да? Но ты меня ещё узнаешь!

- Ты давай заплати сначала.

Как раз подошёл ещё один официант, больше похожий на вышибалу, и подал счёт.

– Сколько? – Саша воззрился на вышибалу оценивающе и полез в карман, достал деньги. Несколько десятков рублей у него не хватало. – Хватит и этого, – он мял в пальцах купюры,

выказывая пренебрежение и даже презрение не то к деньгам, не то к официанту. У того на скулах заходили желваки:

– Слушай, ты!

– Что-о?!

– Да бросьте вы! – я за локоть потащил Сашу на улицу – публичные разборки в наши планы не входили. – Подышим, подышим, успокоимся!

– Н-не-не-не, пусти, я ещё не закончил... своих дел.

– Клиент созрел. Какие могут быть дела в таком состоянии? Пора освежиться.

Я остуился на неосвещённом крыльце и выпустил Сашин локоть. Оборачиваясь, заметил холодно-злой и трезвый промельк его глаз, и тут же правый его кулак от плеча выстрелил мне в лицо... я успел лишь откинуть голову назад – удар пришёлся в козырёк моей кепи и она отлетела. Удар его левой руки, уже поймав равновесие, я пропустил над левым плечом и ударил сам... Саша съехал спиной по стенке на корточки, затем завалился на бок. Я поднял свой головной убор, в замешательстве огляделся: надо линять. Бросился за Волохой, уже уладившему финансовый вопрос и одевавшим куртку.

– Сматываемся!

На крыльце мы подняли нашего белградца под руки и повели.

– В посольство его, что ли, сдать?

– Дельная мысль. Только в какое? В американское?

Сделав с десяток шагов, Саша упёрся копытом, и мы его отпустили, постояли в ожидании, что он ещё выкинет. Он встряхнулся, сфокусировал на нас, стоящих плечом к плечу, свой мутный взгляд, дёрнулся было на бордаж, но тут же передумал, помотал головой и, пошатываясь, побрёл обратно к ресторану.

– Поглядим, – предложил Волоха, прячась за киоск, – как его будут выкидывать?

Минут несколько мы потоптались в ожидании развязки и, не дождавшись выкидыша – отправились к метро. Взяв по бутылке пива, обсудили ситуацию.

– Теперь он тебе вряд ли принесёт статью.

– Это точно. Но какого чёрта мы не повернули обратно, когда у него пропал акцент?

– А шут его знает!

– Ну ладно, утро вечера мудренее.

И мы расстались.

Ну а день спустя НАТО обрушил на Югославию свои новые ракеты. И российский премьер, летевший в США на переговоры, развернул в воздухе самолёт и полетел восвояси. А внутри погибающей балканской страны кое-кто развернул прибыльный бизнес по продаже человеческих органов...

Я позвонил Волохе:

– Слышь, а фельетончик в какой-нибудь газете на предмет, что накануне русские литераторы устроили драку в сербском ресторане, очень кое-кому пригодилась бы.

– Ты хочешь сказать: Саша хотел нас втравить?..

– И тогда можно было б оповестить мир: по сербам первыми вдарили русские, а не американцы?

\*\*\*

Кроме Волохи Миронов застал в кабинете и самого председателя, уже изрядно и складно поддатому. Складно поддатому, по определению Миронова, означало: выпившим в свою меру и оттого в благожелательном расположении духа. Федот Федотыч обрадовался подкреплению – а с чего бы ещё? – Ейей, по своему обыкновению, никогда не являлся без бутылки. Тем более, Волоха употреблял нынче умеренно, поскольку ждал звонка от невесты: на концерт какой-то собралась, а Луначарский не любил умеренных питаков (от слова пить – например, водку).

Посидели уже втроём, тепло как-то пообщались, что редко бывает по той простой причине, что почти всегда в компанию врезался некто непременно и чересчур разговорчивый – уж так устроил председатель свой чиновный кабинет. Все тянулись сюда пообщаться, но редко соизмеряли свой темперамент с устоявшейся на конкретный момент атмосферой аудитории. Кто-то затевал драку, кто-то силушку свою вознамеривался показать, двигая сейф или холодильник, кто-то из окна прыгал... Словом, кто во что горазд – начинали в подпитии лихо отчебучивать всякую всячину, никак не способствующую умиротворению. И тогда впору было вспомнить пословицу: «Бей своих, aby чужие боялись!»

Так и сегодня не случилось исключения. Ввалился очередной Некто, пьяный, неприлично болтливый до умопомрачения, вывел из себя Федот Федотыча, вскоре убежавшего из кабинета с тем намёком, чтоб Волоха с Мироновым спровадили как-нибудь пришельца самостоятельно. И те просто-напросто стали убирать со стола, показывая сим ритуальным действием, что аудиенция закончилась.

Вот тут и появилась в дверях Алевтина.

– Я не во время? – сразу оценила она положение дел, притормозив у порога.

Волоха явно обрадовался её приходу, сразу засуетился.

– Ну что ты, что ты! – воскликнул он. – Но тут... Тут, понимаешь, уже всё... ну, климат, короче, подпорчен. Мы с Ефимом хотим в клуб переместиться... Ты нам кумпанию не составишь?

У Миронова сложилось впечатление, что сокурник его позабыл и про невесту свою и про концерт, о чём до этого не уставал напоминать...

Сам же Ейей, с появлением гостьи вдруг замер и, хотя был близорук, неожиданно увидел её глаза, обращённые почему-то к нему только (разговаривала же она в это время с Волохой), и подумал: дескать, как так, что, будучи на расстоянии десяти шагов, он увидел пытлиное выражение её взгляда? Такое с ним, во всяком случае, произошло впервые, и это обстоятельство слегка обескуражило его, но также и крепко заинтересовало. Заинтриговало. Что-то очень знакомое из детства, что ли?.. Влюблённость, может быть?

Решили завернуть в магазин, чтобы не переплачивать в клубе. Алевтина осталась на выходе перед кассами, а друзья погрузились в лабиринт полок с товаром. Уже у кассы Волоха сказал Миронову:

– Шоколад пока спрячь. Она сладёна... – оба они тут рассмеялись, потому как сообразили, что говорят непосредственно рядом с девчонкой-кассиром, с усмешкой и любопытством взиравшей на них, откинув кудрявую головку и хлопая большими ресницами, и, видимо, уразумевшей, что вовсе не её хотят они обвести вокруг пальца, но всё же, всё же... забавно.

Уже на подходе к писательскому клубу Волоху вызвал на связь мобильник.

– Да-да, минут через двадцать буду, – сказал он и, глянув на Миронова, пояснил в некоторой оторопи: – Моя Натали уже в метро. – И задумчиво повторил: – Уже в метро моя Натали.

Так что вскоре ему пришлось уйти, но всё же втроём они успели за чем-то обсудить его прежнюю жену, которая требовала, чтобы он отписал свою долю квартиры на детей, и Миронов, подхватив тему, за чем-то высказал своё мнение:

– Дело не в том, кто плох или хорош... Вот я тоже прожил более двадцати лет со своей ненаглядной... и чего? Вдруг оказалось, что мы совершенно разные люди. Интересы наши совсем не совпадают. И удерживало нас последние годы только – что? Сын, быт, привычка... А что ещё может быть хуже, чем жить по привычке? И тебе, Волоха, вряд ли нужно сводить отношения к злобе... сыновья тянутся к тебе, ты – к ним.

– А я разве свожу, – огрызнулся Волоха, – тем более, к злобе? Чего ты лепишь!

– Да, – сказала Алевтина миротворчески. – Что может быть хуже – жить по привычке? Наверное, ничего. Тут я всецело на стороне Анны Карениной. Жить по любви...

– Мне надо выпить. – Волоха выпил, не дожидаясь остальных, облизал под усами красные губы. – Всё! Я подвигал! Ну вас в баню! Зануды!

Уронив стул, он быстро вышел из буфета, бросив, впрочем, загадочную фразу на прощанье:

– Пьяный проспится, дурак никогда!

Впрочем, на это его замечание никто не обратил внимания.

Оставшись с глазу на глаз, Алевтина с Мироновым продолжили непринуждённое общение – их круг интересов оказался как раз общим. Миронов взял ещё яблочного соку, бутербродов, кофе. У стойки буфета к нему пытался привязаться завсегда́тай подвала, сухощавый поэт с пропитым лицом, но Ейей небрежно от него отмахнулся или, точнее, – не удостоил внимания, не удосужился огрызнуться даже. Затем этот завсегда́тай подходил к их столику, жадно поглядывая на бутылку у ножки стола, но и тут его намёку внять не захотели и не приветили, Алевтина даже выразила ему своё неудовольствие, сказав, что он мешает им разговаривать, и это пробудило в Миронове ещё большую к ней заинтересованность и симпатию. Он чувствовал, что давно не испытывал столь сильного влечения к женщине. И женщина эта, кажется, тоже испытывала к нему больше, чем приязнь к любопытному собеседнику.

«Странно только, – заметил себе Миронов, – что зовут её Алевтина... как в моей повестушке».

Затем, когда стали выдворять из буфета, они обнаружили, до чего быстро и незаметно пролетело время. Собрав остатки закуски и водку в сумку, они отправились по Тверскому бульвару. Сияли огни вечернего города, скрипел снег, и Ефиму Елисеевичу почудилось, что ему на данную минуту лет двадцать, но никак не полтинник. На лавочке они допили водку (то есть допивал Миронов, Алевтина же плеснула немного в стаканчик с соком). После этого как-то явно перед Мироновым возник вопрос: что же дальше? Вот сейчас они распрощаются (да, вечер прошёл хорошо, да, приятно пообщались) ... и всё? А ведь так бывало, что он прощался с очередной дамой, обещал звонить, а потом не звонил. Почему-то сейчас хотелось иного продолжения... и об этом позаботиться нужно не завтра, но теперь, никак не завтра...

– Ну что, – сказал он, – поедем ко мне? Но это Подмосковье. Или... к тебе пойдём?

Тут над головой в небе, вылетев из-за крыш домов, с треском рассыпались разноцветные петарды. Миронов резко обернулся на внезапный фейерверк и одновременно с этим успел увидеть сбоку глаза Алевтины – в них, как в линзочках, отразился этот странный салют, не мотивированный никаким праздником, потому как никакого праздника сегодня по календарю не числилось.

Её квартирка представляла собой небольшой музей цветов: почти в каждой вазе по гербарии – розы, ромашки, космеи... И живые: на подоконниках и в подвешенных к потолку горшках цвели, кроме знакомой гортензии, бегонии и плюща, невиданные Мироновым до сих пор, названия которых он не сразу смог за Алевтиной повторить: нефролепис, сансивьера... и этот... как его?... Язви!

Из кухни Алевтина сказала, что на Кубе кротон дивно красив.

– Этот, по сравнению с ним, неприличен даже. Потому что невзрачен.

И полным-полно экзотических экспонатов. Поблекшие корралы вальяжно кривились на стеклянном столике, на подоконнике возлежали бледно-розовые морские раковины, коричневые звёзды, надутая и вся в острых шипах рыба, готовая вот-вот взлететь, как воздушный шарик... И далее повсюду – камешки, амулеты... Глаза разбегались, и Миронов решил сосредоточиться на чём-нибудь отдельном. Тем более, легкомыслие хорошо подпившего человека и «эта вот экзотическая музейщина» настроили его на ироничный лад, чего как раз он и старался избежать.

На полотне в раме из бамбука с горных вершин струился водопад, неподалёку от которого расположилась соломенная хижина с чернокожими аборигенами, ещё какие-то ритуальные действия и сценки. Масса фотографий и картинок по стенам. На полочках вперемежку с чучелами черепашек, небольших крокодилчиков, игрушечных мартышек топорщились воинственные деревянные болванчики с копьями (то есть глаза опять запрыгали вскачь) и другие в непринуждённом разбросе предметы шаманского свойства.

Необычное освещение – лампы с повёрнутыми в разные стороны абажурами тянулись линией по всему потолку от одной стены к другой – придавало антуражу вид уютного оазиса. Над столом же висел инструмент из толстеного бамбука, издававший мелодичное звучание ряда нот, если задеть его нечаянно головой. К тому же Алевтина включила запись птичьих голосов – их ласково-приглушённое щебетание создавало устойчивое настроение райского покоя. Правда, Миронов почувствовал, что вся эта атмосфера была слегка насторожена против него, как бы в ожидании реакции и поступков незнакомца, и он понял, что вести себя надобно, не навязывая себя и тем более ничего своего не диктуя. И постепенно настороженность эта по отношению к нему стала мало-помалу иссякать, и, наконец, он ощутил себя легко и непринуждённо.

«Ну-ну, – сказал он себе, – не такой, значит, я и страшный... среди этих крокодилов и медуз».

Сухое красное вино показалось ему чуть подкисшим, и он сказал, взяв бутылку и встряхнув её для наглядности:

– Коль сверху такие пузырьки роятся, то...

– Что?

Миронов не был уверен, что правильно помнит пояснения, когда-то слышанные на одном из винных заводов в Крыму, поэтому замялся, но, имея на вооружении поговорку «говоря – говори», продолжил в том же духе:

– ...То это означает, что продукт плохо выдержан. Попросту – закис. Брак натуральный.

– Ну да? А мне понравилось.

– Ну, на вкус и цвет... – и прикусил язык.

Впрочем, Алевтина пропустила мимо ушей его последнюю реплику.

Со второй бутылкой вышло иначе: вино показалось Миронову замечательным, и он им восхитился.

– Вот это настоящий продукт!

Алевтина взяла бутылку и для наглядности встряхнула:

– Между прочим, здесь такие же пузырьки.

– Да? – Миронов пригляделся, приблизив бутылку к свету торшера, прожевал пиццу, изрёк: – Это совсем другие пузырьки.

– Ах, вот как. Оказывается, пузырьки бывают разные. Другое вино, другой вкус, другие пузырьки?..

– А как же! – не сдавался Ефим Елисеевич, но про себя подумал: «Похоже, я уже пьян... изрядно!» – Мысль эта, однако, не вызвала в нём беспокойства. Ему было комфортно, и чувствовал он себя соответственно – раскрепощёно. – Послушай-ка...

– Да.

– Откуда вся эта забугорщина? – и он обвёл комнату рукой. – Может, расскажешь? Вкратце.

– Вкратце? – Алевтину, кажется, позабавила такая постановка вопроса, и она готова была уже рассмеяться. – А не рановато?

– В самый раз.

– Ну... что ж. Хотя, знаешь, неведение иной раз куда больше пленяет воображение. И удобнее даже. К чему нагружать... не лучше разве с чистого листа? – И тут же сама спросила:

- У тебя в детстве друзья-то были?
- Да, конечно. А что такое?
- Расскажи.
- А как же чистый лист?

\*\*\*

Придя домой, Ефим Елисеевич выпил ещё водочки и... вспомнил почему-то вопрос Алевтины о друзьях детства.

- Хм. С чего бы?

Поглядел в окно затуманенным взором, встряхнул затем головой и пошёл к письменному столу. В старой папке он нашёл тетрадку...

«...пока Мироша болел и сидел две недели дома, он написал фантастическую повесть – можно сказать, от нечего делать. Вернее, он и раньше воображал себя писателем – обычно перед сном – наподобие Льва Толстого. А тут, как спала температура, заскучал. И стал сочинять по-настоящему, то есть принялся заполнять листы бумаги девственной белизны своими дремучими каракулями. Правда, вначале он не мог никак решить, о чём же ему поведать воображаемому читателю, и сидел перед чистой тетрадкой и покусывал кончик ручки. Но и это обдумывание показалось ему сладостным состоянием: время летело незаметно, а он витал где-то в своём воображаемом мире, и было приятно ощущать себя способным облечь фантазии в некие словесные очертания. А дальше где-то маячила известность, слава. Сейчас же, когда он поставил точку в конце своего произведения, ему стало так необыкновенно хорошо, даже радостно, что он, если бы не ощущал в ногах предательской слабости, непременно вскочил бы и ударился в пляс.

Тут позвонили в дверь...

На пороге – конопатый мальчуган из соседнего дома, где живёт и друг Вовка Ожёга.

– Твоего Жогу лупят! – выпалил он. И Мироша, схватив с вешалки куртку, побежал вслед за конопатым.

Так уже было однажды: этот же конопатый прибежал... Кто он, кстати? Надо узнать, мелькнуло в голове. Почему второй раз? Нет ли какого подвоха?.. В прошлый раз, к примеру, за Мирошей следом выскочил отец и подстраховал. Мироша тогда разбил руку о зубы Ямы и Шычи, верховодивших местной шпаной... Что-то будет теперь?

Вовка сидел на лавочке у подъезда, один. На скуластом лице его блуждала неизбывная печаль, намного превышавшая размеры ссадин и фингал под глазом. Мироша хорошо знал эту особенность своего друга – впадать в длительный ступор растерянности и безразличия к окружающему. Так что прежде, чем утешать или воодушевлять его на какое-либо действие, следовало вывести из этого состояния. Мироша сел рядом. Конопатый сосед пошмыгал носом и скрылся в кустах палисадника.

- Кто этот рыжий? Ещё в прошлый раз хотел спросить.

Вовка медленно поворачивается к Мироше всем корпусом, но глаза наполняются осмысленностью не сразу.

- Этажом выше живёт, – говорит, наконец. Пошевелил распухшими губами, добавил:

– Как идёт мимо, обязательно в дверь звонит. Выхожу – никого. Ладно, думаю. Намазал кнопку снадобьем... оно, пока сырое, безвредное, но когда высыхает, то взрывается. От прикосновения. Отец научил, он же химик... Вот Лёшка и надавил... Я выглядываю, а он сидит у дверей и глазами лупает.

- Кто тебя бил? – не давая ему опять уйти в себя, спрашивает Мироша.

Вовка прижимается грудью к своим расцарапанным коленкам и делает вид, что рассматривает носки ботинок. Его заметно лихорадит. На скулах перекатываются желваки, вместе с этим шевелятся почему-то уши.

– Я могу сказать, – высовывается из кустов рыжий сосед. – Кисель прокисший и его компашка. Пятеро их было.

– Знаешь, о чём я думаю, – говорит Мироша, поразмыслив.

– Ну, – откликается Вовка через минуту-другую.

– Я думаю, что вот Яма и Шича никогда уже не станут нас задирать после того, как мы им задали трёпку... Почему?

Вовка поворачивает голову и вопросительно смотрит снизу вверх.

– А всё потому, – поясняет Мироша. – Врагу не сдаётся наш гордый варяг!

Вовка снова разглядывает землю у себя под ногами, сопит носом.

– Так и с Киселём надо, – говорит Мироша. – Мы ведь знаем, где они живут.

– И что? – уши у Вовки перестают двигаться.

– Мы их будем отлавливать по одному. Они впятером на тебя напасть не постеснялись?

Не постеснялись.

– Я с вами, – подаёт голос из кустов конопатый Лёшка.

У дверей квартиры Первого Мироша глянул на побледневшего Вовку, сурово сказал:

– Звони!

Вовка потянулся было к звонку, но опустил руку:

– Щас, погоди.

Тогда Мироша позвонил сам.

Первый – а это был лопухий Кисель, предводитель «компашки» – открыл почти сразу и очень удивился:

– О-у! – Но тут же в его глазах мелькнул страх. – Вы чего?!

– Ничего! – ответил Мироша и ударил. У Киселя подкосились ноги, он рухнул между косяком и дверью на колени и прикрыл голову руками.

– Пошли дальше, – дёрнул Мироша Вовку за рукав.

Второму, третьему, четвёртому и пятому Вовка звонил уже сам. Сам же и бил...

После этого, действительно, Кисель забыл о себе напоминать. И только уже, будучи взрослым, Мироша узнал, что тот погиб от финки – в приятельской разборке».

И тут Ефима Елисеевича потянуло побывать в той части города, где прошло его детство. Потянуло так, как если бы кто за рукав ухватил. И песенка зазвучала при этом: «Где эта улица, где этот дом, где эта барышня, что я влюблён...»

Однако надо было садиться на автобус, который он плохо переносил по причине специфического запаха (и почему другие машины пахнут иначе – разве не такого же устройства их двигатели?), который перевёз бы его по мосту через реку, потом долго тряс по избитой бетонке – это был отдалённый район; странно, что он вообще считался городским. По всему, было бы точнее назвать его посёлком или предместьем...

Но собрался.

И вот приехал... и что? Да ничего особенного... в том смысле, что зря, очевидно, приехал. Всё преобразилось в дурную сторону. Даже пустырь меж двух высоковольтных линий электропередач, где мальчишками играли в футбол, оказался теперь не тем впечатляющим и заповедным некогда пространством, а неприглядным захламлённым полигоном человеческой деятельности – с горловинами погребов там и сям, как будто кротовьи холмики обезобразили прекрасно утоптанное множеством детской обуви поле.

Дом, в котором он жил, зиял высаженными окнами, за ним торчали огромными голо-вёшками остатки от сараев – ещё чуть-чуть, говорило всё, и Миронов вообще мог не отыскать того места, где произрастало его детство и отрочество.

И что? Зачем явился? Что ты хотел увидеть? Чего ожидал? Какие эмоции-чувства хотел пережить? – такие вот банальные вопросы возникали в голове, как пузырьки, и, как те же пузырьки, пропадали-лопались, не получив в душе ни отклика, ни даже намёка на какую-либо мысль. Лишь в носу пощипывало, как от нарзана...

Он присел под голым клёном на брошенный ящик от посылки, предварительно стряхнув с него снег. Проник настороженным взглядом в притаившуюся узорчатую тень от густо переплетённых ветвей – точно в ожидании какой-то встряски или подсказки, после чего из этого воздуха могло выпасть нечто вроде хлопьев памяти. И вдруг увидел он через кустарник обшарпанный угол полусгнившей завалинки... И дальше картинка за картинкой, образ за образом стали менять друг друга без всяких усилий с его стороны. Мир детства ожил сам собой, словно вернулся, вошёл в него, найдя калитку или тайный лаз.

Вечер. Цветы в кадках – «Мокрый Ванька» и берёзка – заслоняют подступающую за окном вкрадчивую ночь.

Уютно сидеть на диване, поджав ноги, и смотреть телевизор. Отец время от времени уходит на кухню и возвращается оттуда, выпив самогона, оживившимся, более азартно реагирующим на перипетии хоккея, хотя телепередачи – даже если то был хоккей или бокс – являлись в такие вечера лишь фоном для доверительных разговоров. Сказок, так почему-то выражался отец.

Мироша (так называли его дома, на улице пожётче – Мироха) любил отца в таком состоянии – тот был мягок, понимающ и очень интересно рассказывал истории из своей жизни. И Мироша ждал теперь, когда же отцу захочется поговорить о чём-нибудь проникновенном. В нём, можно сказать без преувеличения, пропадавал великий сказочник. Мироша даже как-то подумал, что захоти отец записывать свои сказки, наверняка тогда приобрёл бы имя знаменитого писателя. Нет, кое-что он записывал в блокноты (как и дед по матери на календарных листочках). Но Мироше было лень вникать в его карандашный почерк, да и зачем? Отец сам – как настоящий артист – в лицах разыгрывал сценки. Много позже Мироша всё же кое-что прочитал из его каракуль... но, увы, блеклые карандашные записи не произвели на него впечатления. Знать, подумалось, сказы устные и письменные не одно и то же. Он только не мог тогда ещё понять, почему.

Итак, Мироша с напряжением ожидал, когда отец войдёт в то самое состояние, когда ему захочется покалякать по душам...

В тот раз не дождался... Стук в дверь сорвал их с дивана – да, такой вот стук-грохот, точно имели намерение вломиться, снеся любую преграду.

Выскочив в коридор, отец плечом навалился на дверь, так как её натуральным образом вышибали – словно били с наружной стороны бревном-колотушкой. Язычок замка уже выгнулся... Мироша, хоть и оцепенел от страха, увидел-таки в глазах отца колебание – то ли отомкнуть, то ли держаться до последнего – ну да, что там за дверью творится, что за чудовище ломится?.. Не известно же!

И всё же отец открыл, едва давление на дверь поубавилось. И взорам их явилась несусветная кутерьма: несколько здоровенных парней рублились на кулаках, да с таким остервенением, что Мироша невольно попятился и прижался спиной к стене. Пропеллерами жужжали поленья из поленицы соседа Санина (и у Мироши мелькнула неуместно-несвоевременная и даже зло-радная мыслишка: теперь тому заново придётся складывать свои дрова – эта поленица всем мешала ходить, особенно когда перегорала лампочка или кто-нибудь её выкручивал)...

Тут отец засвистал соловьём-разбойником (Мироша и не подозревал, что тот умеет так ядрёно свистеть). И потасовка сразу стухевалась, её участники скатились вниз по лестнице –

будто от мощных воздушно-звуковых колебаний – всех будто снесло бурей прочь. Именно так, должно быть, и свистят настоящие разбойничьи соловьи...

И к ним в коридор, а затем и в комнату ввалился, прикрывая голову руками, здоровущий мужик... Затравленно оглядевшись, он сел на стул (который под ним едва не развалился), и долго не мог ничего сказать, пока не отдышался.

– Помогите, – сказал, наконец, грубым срывающимся басом, – вдвоём мы с ними справимся... Бля буду, справимся! Двое – это не один! Спиной к спине...

– Ты кто? – перебил его отец тоже срывающимся голосом. Все эти минуты (а может быть, секунды) он нервно расхаживал взад-вперёд – из коридора в комнату и обратно. И вид у него, и выражение лица были такими, точно он в полной растерянности, и от этой растерянности он зол на себя, разгневан даже, потому что не знает, не представляет, что же ему предпринять. – Ты мне дверь выломал! Понимаешь!? Вот что!

– Это не я!

– А кто – я?! Ты ж влетел сюда, а не тётя Мотя!

– Меня молотили, чем попало! Мною... это... вышибли дверь! Мною!

– А я чего говорю?! Нет, ты уж ступай отсюда – туда, откуда пришёл, а я уж тут без тебя как-нибудь останусь!.. На подмогу меня зовёт – видали?! – он возмущённо повернулся к Мироше, затем – вновь к здоровяку: – С кем хоть ты сцепился?

– Да-а... – прогудел тот, – за девку хотел заступиться...

Мироша видел – отец начинает закипать не на шутку. После он обронил: «Наглец! Ещё зовёт меня разбираться со своими обидчиками!.. Хмырь! Защитничек бабского полу! Знаю я вас. Сказал бы уж по-честному: не поделил!»

– Дай попить.

Отец кивнул Мироше и тот метнулся на кухню.

Здоровяк выпил кружку воды, отёр капли с подбородка и поднялся. Да, это действительно был богатырь!

Когда он вышел из квартиры, отец, разведя ладони, повернулся к Мироше:

– Ты хоть его знаешь?

– Он из соседнего дома. Пыжов Серый.

– Серый?

– Ну... Сергей.

– Почему я его не помню?

Мироша пожал плечами: он-то как раз помнил Серого очень хорошо. Несколько лет назад, ещё не будучи таким здоровяком, тот отличался драчливостью и жестокостью. Мироша был свидетелем некоторых его свирепых стычек со сверстниками, которые панически покидали, что называется, поле боя, – но не это настроило враждебно к нему Мирошу. Разборки старших его не очень задевали, – не его возраста то были проблемы. А вот другое... перевернуло в нём... заставило содрогнуться... выяви узреть... и прозреть, что ли...

Кого Серый ещё позвал тогда с собой? Виталика? А ещё? Ну, в общем, не важно. Всё из головы вылетело, кроме ощущения...

Приложив палец к губам, Серый привёл их, своих «оруженосцев», за дом, где в кустах на завалинке сидел пьяный мужичонка и мурлыкал что-то себе под нос.

Подмигнув «оруженосцам», Серый ударил этого пьяного ручкой своего деревянного пистолета по зубам так, что тот даже не пикнул, кулем свалился с завалинки и лишь минуты спустя, выплёвывая зубы, жалобно захныкал:

– За что вы меня... бьёте? Братцы, за что? не надо... у меня ж дети, жена... дома ждут... не надо... За что?!

– За де-ело! – сплюнул Виталик. А Мироша ужаснулся, не в силах постичь, откуда у его соседа с первого этажа и школьного приятеля такая лютая ненависть к незнакомому человеку.

А Серый протянул Виталику своё орудие избиения:

– На, добавь!

И Виталик добавил...

После этого эпизода Мироша старался избегать Серого, а с Виталиком они вскоре рассорились – правда, тогда он не признался себе, что послужило причиной. Лет по десять-одиннадцать тогда им было.

...И вот сегодняшним поздним вечером Серый вломился в их квартиру и просит помощи...

Если бы отец согласился помочь, стал бы Мироша его отговаривать?..

Этот вопрос самому себе остался без ответа, потому как на лестничном марше вновь разыгралось побоище.

Опять отец принялся свистать. Опять бившие Серого разбежались. Разница была лишь в том, что теперь Серый лежал на крыльце бездыханным и... надо было что-то с ним делать.

Отец стащил его на землю.

– Ни фиги себе! – процедил он одышливо и не без восхищения. – У этого парняги сплошные мускулы, как у Александра Заса (отец недавно купил сыну эту книжку о русском богатыре) ... Как они с ним вообще справились, с таким героем?..

– Я видал – по затылку стукнули.

– И чем же его в чувство вернуть?

Отец оглянулся, как если бы опасался свидетелей, и – шлёпнул Серого по животу.

– Вот это пресс! – сказал. И прибавил, вроде вслух размышляя:

– А что если нам его тут оставить? Я не нанимался ворочать такую тушу.

– А как же эти?.. – спросил Мироша. – Они ж вернуться...

– А мы причём?

– Убьют.

– А мы причём? – повторил отец. – Он нам дверь высадил! Забыл? Праздничек нам устроил! А мы должны о нём заботиться? Чёрта с два! Пусть они ему хоть бубенцы медные оторвут! Ишь ты, девок он защищать вздумал! Эй, парни! – крикнул он в темноту. – Идите сюда, забирайте свой трофей!

И тут произошло то, на что, очевидно, отец и рассчитывал: Серый внезапно перевернулся со спины на живот, точно его пронзило электрическим разрядом, подобрал под себя колени, рывком поднялся на четвереньки, затем так же рывком – на ноги и, пошатываясь из стороны в сторону, побежал в направлении своего подъезда...

– Ну вот, – потирая руки, сказал отец удовлетворенно. – А то, представь, как бы мы его волокали. Полтора центнера, не меньше! Здесь вроде и не очень далеко, конечно. Но всё же своими ногами оно как-то способнее... Как считаешь?

Тут только Мироша понял, зачем отец, приблизив своё лицо чуть ли не к уху Серого, так громко говорил.

Довольные, что избавились от нечаянной заботы, они воротились в дом. И даже покорёженная дверь не испортила им настроения, приобретённого в результате отцовской смекалки...

Они ещё не знали, что у этой истории будет продолжение.

Неожиданно пришла повестка в суд. Там только и обнаружилось, что иск – от Серого. Оказывается, он заявил, что это Миронов-отец его избил, и требовал теперь компенсации... Мирошу тоже вызвали на заседание и допрашивали как свидетеля. Когда он шёл к кафедре, Серый, сидевший у прохода, громко шепнул – не без расчета на хороший судейский слух, очевидно:

– Удавлю, если соврёшь, гадёныш!

Мироша испугался, но рассказал, как было на самом деле, не упомянув только, что отец шлёпал Серого по животу.

Однако суд вынес решение, что Миронов-старший должен оплатить бюллетень потерпевшего.

А на следующей неделе поздно вечером кто-то бросил в их окно камень, пробивший оба стекла и срубивший «Мокрого Ваньку». Они выскочили на улицу и крадучись выглянули из-за угла дома. Но никого не увидели...

– А знаешь, что я вспомнил?.. – сказал отец уже в квартире, затыкая старой наволочкой пробоину в стекле. – До утра и так сойдёт...

– И что ты вспомнил?

– Я нёс тебя на руках... – отец лёг на диван, устремил глаза в потолок. – Ты ещё не разговаривал – маленький совсем... ну, папа, мама, ба, бэ, бу... никаких ещё эр, эс. И вдруг ты чётко-чётко: ветер-р, ветер-р, ты могуч, ты гоняешь стаи туч! Ты волнуешь сине мор-ре, всюду веешь на пр-ростор-ре!.. Да с выражением! И кулачок сжал. Я чуть не выронил тебя от неожиданности.

Мироша некоторое время глядел на отца, ожидая продолжения, затем спросил:

– А про какие бубенцы ты говорил... там, на крыльце?»

Ефим Елисеевич поднялся с ящика и, вздохнув с облегчением – будто рассчитался с давними долгами, – пошёл на автобусную остановку. «Вот эта улица, вот этот дом...»

#### 4.

Доктор, когда я после аварии выписывалась на костылях, посоветовал мне вести дневник – для психологической адаптации, что ли... У меня и с головой складывалось не совсем хорошо, депрессия от несладкого будущего захлёстывала иной раз до полного умопомрачения... Обездвиженность для меня была самой страшной карой... не знаю только за что. И если б не отец, который насильно массировал мою ногу, а я орала благушей, не представляю, сумела бы я отставить впоследствии эти костыли?..

Взявшись, однако, за писание, я никак не могла долгое время фиксировать день настоящий. Меня тянуло на воспоминания...

Запомнилась я себе самой из раннего детства – лет четырёх – девочкой с пышными сиреневыми бантами, любимой дочкой, обожаемой внучкой. Дед боготворил меня, возился со мной больше всех остальных внучат и внучек, а бабушка, когда на неё накатывала депрессия, ревновала его из-за этого. Она, как я теперь понимаю, не всегда была адекватной. Большая, пухлая, тёплая, сядет посередине комнаты на стул и улыбается неведомо чему. Приластись к ней и потонешь в её тёплой пухлости. Тогда я ещё не знала таких слов, как ревность, но ощущала и понимала это состояние, пожалуй, даже лучше, нежели сейчас, когда и пресыщенность мешает улавливать мельчайшие нюансы душевных движений и попросту затёртость некоторых понятий частым суетным употреблением. Ушла трепетная чуткость с возрастом, валом лежат сверху многие ненужности, хоть и вбивали их в твою голову порой с упорным постоянством.

Ну а родители мои были врачи – папа хирург, мама терапевт – и практику они проходили в райцентре Знаменка Н-ской области. Дружили они там с председателем колхоза, у которого был сын Витька, мой ровесник, и с которым я ну никак не смогла подружиться. Было мне тогда лет уж пять. В банный день мыли нас с братом в корыте. И Витька этот зашёл как раз и увидел... Мне стало неудобно. Братишку не замечала, а Витька...

Помню школу из силикатного кирпича, пристроенную к усадьбе тётки Натальи Гончаровой. Старая усадьба меня прямо-таки притягивала магнитом. Подставка мраморная для колонны – остаток былой роскоши – будила моё воображение. Прекрасная резная дубрава вокруг – каждый листик именно что исполнен рукой искусного мастера. И мы с папой любили там гулять, делать из желудей разных зверушек. И сочинять про них сказки. Папа начинал

обычно так: «В некотором царстве-государстве росла девочка Аля. Она любила, чтобы её любили... – И мне: – Теперь ты, продолжай». Но я своих сочинений почему-то не запомнила.

Зато хорошо помню подснежники – нежно-нежно-голубые, пронизанные солнцем, как раскатанный в ладошках воск тонким листиком – трогательные, только-только из-под снега, в сизых проталинах. Очень мне нравилось букеты собирать и нюхать, нюхать...

А ещё помню, как я дразнила большого индюка. И он погнался за мной, не вытерпев моего хамства, очень быстро погнался. Я испугалась, улепётывала во весь дух, руками размахивала, как мельница крыльями. Спряталась в заросли полыни, затаилась на корточках, хоть и дышу, точно паровик. С тех пор запах полыни я прямо-таки обожаю. Очень жаркий был день, полынь источала горьковато-голубой аромат. Долго я просидела в этих зарослях, вдыхая поочерёдно то носом, то ртом. И надышалась полынной пыльцой до одурения, так что во мне творческая жилка тогда и пробудилась, наверно... Много позже я где-то прочитала или услышала, что полынь-трава отвечает за творческое начало в человеке. Может, поэтому нравилось мне искусничать-рукодельничать. Ну, например, в кустах сирени – а дом наш утопал в её бело-лиловой кипени – я любила делать секреты: узор из фантика, цветочка и травинок – всё это накрывалось куском стекла, и присыпалось землёй. Можно затем было торжественно разгрести и показать подружкам свой волшебный гербарий... Впрочем, о таких гербариях я много читала после у других повзрослевших...

Помню ещё, мальчишки унесли папины марки. Я сама их показывала им, а они затем соровали... Хотя нет, это братишка мой на что-то поменял их, а на меня свалил...

Помню, папа любил мастерить мебель. Стеллаж с берёзовыми ножками соорудил – для приёмника предназначался и прочих интересных вещиц. Я всё бересту пыталась отколупнуть, а он мне говорил: не надо, так красивее.

Икона вот ещё засела в памяти. У бабы Вари их было много. А я с ней спорила, назидательно указывала: «Бога нет!» Но бабушка мудро отмалчивалась.

Евгения Кузьминична – первая моя учительница. В их роскошном саду мы с вредным сыном её Вадькой на пару поедали крупную малину, и он жадничал, оттеснял меня плечом и сердито бубнил: «Не ешь мою малину! Моя малина, говорю!» Но это всё бесполезно было с его стороны. Я ему не подчинялась и говорила, что пожалуюсь маме с папой, и его, жадину, отстегают ремнём.

Речку помню, чудная такая – так мне казалось почему-то. Плавать научилась. В этой речке росли кубышки-кувшинки, ивы по берегам шелестели. Два моста. Один высокий – почему-то страшил меня своей громадной неказистостью. Другой низкий. Лёд по зиме оттуда возили для погребов – на лето. По весне же трактор утоп. Тракторист напился и сверзился...

Большое поле перед глазами благоухает, коровьи мины под ногами – наступишь случайно – и в нос ударит навозный запах – тёплый, приятный. Вербу по весне собирали в лесу за полем. Казалось – как далеко ходить! Какая даль!.. И всё-то детство – это простор, от которого становилось легко и жутко весело. Привольные пространства всегда меня захватывали, покоряли своей грандиозной неохватностью, наполняли неустойчивым душевным подъёмом. Не оттого ли я так часто летала во сне и до сих пор летаю?

На велосипеде научилась кататься. Папа за мной бежал-бежал, придерживая за сиденье, а потом отпустил, и я этого не заметила, сама собой поехала...

Помню большущие лужи и гусиную травку по обочинам...

Сельский клуб, куда можно было ходить в кино за медный пяточок, помню – будто вчерашний день. Мама не всегда давала пять копеек, но в жару двери клуба держали настежь, и можно было запросто (а возможно, и не сторожил никто) пробраться потихоньку на коленках и посмотреть кончик фильма.

На деревянной горке со сломанными перильцами я разбила бровь о торчащий гвоздь. Хорошо, не в глаз. Боялась домой идти. Мама: что ж ты сразу не пришла, я б тебе поправила, скобочку наложила. А теперь вот шрамик останется...

А однажды – это было уже зимой – папа так шлёпнул меня, что я обиделась чуть ли не до сегодняшнего дня. Мне это показалось так больно... и так страшно. И, главное, несправедливо. Стемнеет, сказал он, сразу иди домой! Ну, стемнело, я и пришла. А насколько стемнеть должно было?

А в доме чудесная печь, и мышка под ней, головка в норке, а хвостик наружу – как будто нарочно его высунула. Я хотела схватить, да куда там!.. И сейчас вот думаю: неужели она, эта маленькая и серенькая норушка, видя, что мне скучно, таким вот образом развлекала меня, играла со мной? Плутовка...

В первом классе – мой первый ухаждёр, он обращал на себя моё внимание тем, что толкал, дёргал за волосы, даже подножку подставил. Я упала, поцарапалась. Орала нарочно громко, хотя не так уж и больно было. Мальчишке досталось. Я же победно на него после поглядывала. Вот, мол, отомстила. А он огорчился... за то, что причинил мне боль, как сказал позже. Я это запомнила.

А вообще, ребята клеились ко мне буквально с четырёх лет. И конца и края с тех пор не было этим ухаживаниям...

Маму, как врача, приглашали преподавать в школе анатомию. Я гордилась этим. Мне также нравилось бывать в районной, очень уютной больнице. Наблюдать за всем, общаться с больными... Вон дед-лохмадей поставил себе градусник под мышку, да не тем концом – и мне смешно. И я важно подходила и назидательно указывала ему на ошибку. И он делал испуганные глаза и торопился исправить оплошность. Теперь думаю: нарочно он так делал. Пробовала с мамой больничную еду, и хлебные котлеты мне нравились больше, чем мясные домашние.

Однажды я стибрила рубль у подружки, потом бросила его в траву и сделала вид, что нашла. И мы вместе затем проели этот рубль на пирожных – в магазин иногда такие вкусные сладости завозили. Она этот рубль носила в кармане целую неделю. Вытащит, повертит и опять спрячет... она не знала, что такое деньги, не знала их назначения, и как применять, и я открыла ей новые возможности... Помню её удивление и восторг по этому поводу. Она даже попрыгала и похлопала в ладоши.

Потом практика у родителей закончилась, и мы уехали в Москву. Это 70-е годы. Хиппи появились и смутили моё сознание, расклешенные брючки в моду вошли... Мама вставила в мои синие клинья розового цвета... Тогда мне нравилось, а сейчас, вспоминая, думаю: это было ужасно.

Хм, карты игральные мы с девчонками нашли как-то у школы, порнушные. Это не теперешнее время, когда по телику да в интернете можно увидеть всё, что хочешь и не хочешь. А тогда мы по очереди хранили этот разврат у себя дома. Я под матрасом держала. Очень это меня беспокоило. И только я отнесла их подружке и возвращаюсь, глядь, а папа перестилает мне постель... Не хочу уверить кого-либо в своей неискушенности, вовсе нет, ведь я была дочкой врачей, имела доступ к медицинской литературе, нашпигованной разными картинками, которые изучала... Нет, не в этом дело. Просто знать-то мы знали, но не применительно к себе, что ли...

Было детство – чистое-пречистое, с высоким синим небом и сказочными облаками, была и юность не менее чистой и возвышенной. Я любила подмёрзшие ягоды боярышника – мягкие, морщинистые, но ещё душистые, терпкие... И я, как зверок голодный, поела сей деликатес – тогда, помню, выпал первый снег – и это врезалось в память так ярко, что ни с чем плотским о ту пору я не берусь сравнить по силе ощущений. Было любопытство к противоположному полу – и это естественно, но не было никакой абсолютно тяги познать немедленно, вожадение

не обуревало, нет... Я не знаю, как там у мальчиков, но я действительно мечтала о принце на белом коне... И вихрь из-под копыт, и полёт среди бескрайнего луга цветов – алых тюльпанов.

В новой школе – учитель литературы, спецфакультатив. Он выделял меня, потому что я писала хорошие сочинения. С ним у меня связано такое же подростковое воспоминание: однажды он выговаривал моей матери – я, мол, разочарован, дочь ваша ленится. После этого я всегда старалась всем доказать, что во мне нельзя разочароваться. Нет, уже раньше, года в четыре – мама просила пройтись в новой юбочке и кофточке, как манекенщица, и я уже тогда хотела всем понравиться, всех очаровать. Быть центром внимания. Этим, должно быть, и отличалась я среди своих сверстниц. Они поэтому и ревновали меня друг к другу – кому дружить со мной. «Алюсь, а с кем ты будешь водиться?» И постоянно меня копировали: стоило мне связать себе новую кофточку или кисет для денег, тут же начиналось повальное увлечение вязанием этих самых кисетов...

Я же дружила с мальчишками. На физкультуре я прыгала с ними через «козла», отжималась от пола, забиралась по канату к потолку – причём, по нескольку раз. Я вообще была заводилой и старостой по спортивным дисциплинам. Чемпионкой по лыжам в школе...

...Справляли Новый год. По магазинам бегали девчачьей толпой. Я была заводилой, и голова моя была забита хозяйственными заботами: что уже купили, чего ещё нет. А нас сопровождал один из моих воздыхателей. Жутко в меня влюблённый. Личико прыщавое, но зато отличник, задачки помогал мне решать. Вот он сзади плетётся за нами и объясняется мне в любви, а я не слышу – голова потому что другим занята: мандарин ещё надо купить, в фольгу завернуть, чтоб на ёлке сверкали серебром и золотом... И тут Ирка Буравкина кричит мне в ухо: ты что, не слышишь?! Алюсь, проснись! Он же тебе в любви объясняется!

И мне сделалось так обидно, что я прослушала: мне ещё никто до этого в открытую не признавался в своих чувствах. Записки писали, вздыхали молча, но чтобы сказать люблю, да ещё при свидетелях... Ведь лестно же знать: в тебя влюблены, тебе признаются в этом даже принародно, – а ведь это так страшно – признаться! – а ты в это время думаешь про всякую мишуру – какие-то мандарины и золотую фольгу, в которую надобно их завернуть и прицепить на ёлкины-моталкины ветки...

Из параллельного класса Олег ещё влюблён был в меня. Словом, мальчишки за мной ватагой ходили, буквально по пятам, следили даже, выслеживали, следопыты. Зачем-то армянским шрифтом составляли послания. Благо, кинотеатр «Армения» был поблизости, можно было буквы сопоставить и смысл понять. И сама я услышала однажды: «Да, у Алюси самые красивые ноги...»

И ещё один парнишка был влюблён в меня, мне потом уже Буравкина (опять она) сказала об этом. Он ко мне подойти не решался, и попросил мою подружку – хотел через неё ко мне приблизиться, а... потом и женился на ней.

Родители мои развелись, когда я училась в девятом классе. Особой драмы на тот период я не почувствовала, поскольку получила большую свободу. К тому же я поменяла школу, а это как-никак, а новые впечатления и психологическая нагрузка. И там я возненавидела уроки литературы. Одно сочинение за год написала и то не сдала на проверку. Учитель наш охочь был порассказать интимные подробности о великих писателях, и это меня страшно коробило – мне казалось это совершенно неуместным. Скабрёзным даже. При этом я подозревала выдумку, его большое воображение. И я с ненавистью зыркала в сторону этого подлого выдумщика. Выискивала в нём недостатки. С горем пополам закончила школу...

В семнадцать лет мама устроила меня в типографию брошюровщицей, и год целый я там без всякой пользы отбарабанила – и для себя и для государства, что называется. Я такая: люблю простор, разнообразие, новые знакомства, общение, выставки разные. Вот и с Иррой Иго-

ровой познакомилась в очереди на Испанскую живопись. Тогда меня потрясла картина «Святое семейство» Эль Греко, и её, Ирку, тоже картина эта не оставила равнодушной. Потом мы пошли к ней в гости – слушали пластинку с ариями из оперы «Руслан и Людмила», смотрели альбом Дюрера. Ира была старше меня на год и уже студенткой, и позже привела меня в МАДИ (автодорожный институт), к своему другу – Сашке Гончару, однокурснику моего будущего мужа Кости, с которым впоследствии он нас и свёл.

Н-да, Костя, Константин... Первое впечатление – не понравился. Из его семьи я любила только бабушку.

А познакомились мы под Новый год в общежитии МАДИ. Он выгребал капусту из баночки, которую ему собрала на вечеринку бабуля, а я обожаю пробовать всё домашнего приготовления. И он предложил отведать.

На той вечеринке мне больше всех понравился Антон Литров. И Костя потом всё время плакался ему в жилетку, а позже дал ему для передачи мне своё фото. Я приняла, и Костя воспрянул духом, как сказал позже. А тут весна подоспела, и он был внимателен и весь такой галантный, вскружил-таки мне голову. И я влюбилась... При этом, замечу только, я всегда Кости почему-то стеснялась... чего-то важного не хватало в нём, на мой привередливый взгляд, не доставало чего-то... И мне казалось, что все видят эту его непрезентабельность, кондовость даже. О себе-то я была более чем высокого мнения... интеллектуалка, с развитым художественным вкусом и так далее.

Чудная я всё же была, жила затворницей в своём выдуманном мире. Видела, кто и как на меня глядел – тот же Гончар или Антоха Литр, – но не придавала значения. Гончар только на пятом курсе сказал, что влюблён в меня. Антоха же раскололся много позже, когда гуляли втроём (третьей была его дочь Ольга) по Тверской: «Я уехал тогда и так жалел после... – И к дочери обратился: – И у тебя могла быть другая мама». Это он вот про что: на одной из вечеринок я много танцевала, и меня тянули за руки в разные стороны – с кем танцевать – Костя с Антоном. И Костя перетянул... Как в библейской притче, когда мать готова отдать своего дитя, только б не разрубали пополам – так вот и Литр уступил из опасения причинить мне боль. Что касается Кости, то сначала он приходил в гости, потом стал оставлять вещи у меня, ночевать. Моей бабульке он очень нравился... Сидит она бывало пухлым шаром посреди комнаты, улыбается и нахваливает: хороший мальчик, хороший... Тогда мы слушали «Машину времени»... Один раз Антон тоже остался ночевать, так бабуля моя очень рассердилась: нехороший мальчик, неправильно себя ведёт. За бабулей моей водилось: кого первым увидит, о кого глаза натрёт раньше, того и признаёт. А я, в самом деле, не понимала, почему человеку нельзя переночевать, если, допустим, поздно идти домой... О приличии каком-то голова моя не затруднялась. Потом он как-то позвонил – а он часто названивал, никак не мог смириться, что Костя его переиграл, перетянул на себя:

– Ну, как дела? – спрашивает.

– Да вот, пока не родила... – пошутил Костя.

– Да?! – и Антоха даже трубку положил... или выронил. А через минуту перезвонил.

И серьёзно, заикаясь от волнения, стал объяснять, что нам... – Да вам нужно срочно пожениться!

И бабуля моя – тоже «за»: пожениться.

Вот так вот, благодаря Костиной шутке мы окольцевались.

Абсурд?

Помню ещё, были в гостях у Антона, и Костя хвастал, какая у него – я – замечательная хозяйка. И Литр смотрел на меня мечтательно-завистливыми глазами. И его родители очень ко мне хорошо относились.

А Гончар... Странно, как мы собрались тогда – трое мальчишек и я. Креветок ели. Почему трое мальчишек и я одна? Пили пиво и ели креветок. И Гончар всё время поддевал

меня. «Чего он меня язвит всё время?» – спрашиваю потом Костю, уже супруга. – «Не обращай внимания. У него такой характер». А Сашке, видимо, хоть как-нибудь хотелось со мной общаться...

Так вот, из группы я выделяла Гончара и Литра. А Костя... Вот так, нравился Гончар, нравился Литров, а вышла за Константина.

Когда моему сынишке было лишь только полгода, в меня были влюблены двое мужчин из нашего дома.

Один: «Я давно в твою маму влюблённый», – это он приговаривал, когда коляску в подъезд помогал занести, с ребёнком общался вроде бы, а не со мной... я сначала даже не осознала, о чём он бормочет, только потом до меня дошло-доехало.

А второй ухаживал впрямую: он, кстати, то и дело объявлялся в моей жизни. Даже когда я поступила в институт, он приезжал на курс и что-то хотел от меня... а я не понимала, чего. Поэтому мне и говорили: ты что, Алюшь, дура совсем? Так вот он приехал и уехал: понял, наверно, что со мной бесполезно заигрывать. У меня в голове не срабатывало что-то. У него жена, ребёнок... которого, кстати, я кормила, своим молоком, потому что жена у него была безмолочной. Смешно так. Сынишка ихний аж захлёбывался...

И вообще, вокруг меня крутилось столько мужичков... и если на всех обращать внимание... Поэтому я и одеваться старалась скромно.

Вот так я и жила до некоторых пор...

\*\*\*

Читая впоследствии Алевтинин дневник, Миронов подумал, что она уже давно, очевидно, складывала о себе благоприятную версию, подгоняя подробности – вольно или невольно? – под определённый критерий... Короче, сказку о своей персоне.

«Да и для меня, похоже. На самом деле, если всматриваться пристальней, то это чистой воды сочинительство...»

Фраза в дневнике Миронова не закончена.

\*\*\*

Алевтина заглянула к председателю Луначарскому – сам хозяин в кабинете отсутствовал, но там находились Волоха с Мироновым. Собственно, Федот Федотыч Алевтине не был нужен. Она и сама не знала, кто ей необходим на тот момент. Просто вдруг захотелось зайти в организацию. В клубе писателей к ней приставал Пузиков, в прошлом сокурсник по институту: «Ты сегодня такая... сексапильная! Прямо-таки примагничиваешь! В чём дело? Говори – исполню все твои желания...» Вот она от него и убежала. А куда пойти ещё? Домой не хотелось. Вернее, не хотелось быть одной...

С утра она записала в дневнике: «День не обещает ничего особенного...» Это собственное наблюдение её слегка задело. Зачем вообще что-то записывать тогда? Ничего так ничего. Ещё и бумагу марать! Глупость. Но, поди ж ты, разбери, когда в мыслях сумбур, а душа обмирает... «Душа... Обмирает... Экие красавости в голову лезут!..»

Волоха встретил её с нескрываемой радостью, хотя тот визит к ней не принёс ему желаемого... Возможно, сейчас в нём всколыхнулась надежда. Ей же тогда было любопытно: чего это он напросился в гости, когда уже всем объявил, что ожидает приезда невесты? Или что, выбирал до последней минуты?... У-у, мужики!.. Хотя и бабы не лучше...

Однако уже на пороге она увидела Миронова, которого до этого видела всего три раза. Первый раз в позапрошлом году на литературной конференции, где не очень и приглядеться успела, так как народу интересного было предостаточно, а он, как потом узнала, только-только появился в здешних кулуарах и старался, видимо, не высовываться. Впрочем, оказалось впоследствии, высовываться он вообще не любил. Так что второй раз также мог зафиксироваться

в памяти опять же лишь проходным моментом, не обрати сам председатель её внимание на его скромную персону.

– Не понимаю, – сказал Луначарский в застолье после конференции (Алевтина сидела подле него), – и чего вы находите, девки, в поэтах. Не понимаю. Сплошь выпулизм и экзальтация. Таланту на грош, а форсу выше крыши. Из окон прыгают ещё... – и покосился на студентку свою: слушает ли? И понимают ли, что намёк на Маврушу? И убедившись, что понят, продолжил: – Вот сидит – хороший, порядочный Миронов, ей-ей. И пишет, заметь, не стихи, а прозу.

Алевтина присмотрелась и, когда Миронов ушёл, шепнула Луначарскому:

– А он и в самом деле симпатичный.

И третий раз они столкнулись в коридоре организации, когда Алевтина собирала документы на поездку в Австрию – заниматься литобработкой мемуаров известного русского князя, чьи предки уехали из России до революции. Миронов прошёл мимо неё с секретарём Заточкинским и, похоже, опять не обратил на неё внимания. Хотя нет, подмигнул, но так, как подмигнул бы, скорее всего, любой смазливенькой девчонке.

И вот теперь... четвёртый раз. На память ей почему-то пришло: три раза дух прошёл в образе человека... и всё мимо, мимо... Однако в четвёртый раз...

Когда она стояла в ожидании, пока ребятки отоварятся питием и закусью (втроём они уже покинули организацию и завернули в магазин, чтобы не переплачивать в Клубе), она услышала, как они хохочут. Поначалу этот смех её покоробил, потому что подумалось: смеются над ней, но в следующее мгновение она рассмотрела их лица и поняла, что в эту минуту перед ней налицо сама непосредственность. Миронов, во всяком случае, точь-в-точь напоминал пятилетнего мальчугана, который вот-вот хватится за свой гультфик, чтобы не опрудиться от избытка чувств, так взхлёб он покачивался. Что же их так развеселило? И ей стало ещё любопытнее...

В буфете она потеряла счёт времени, так увлеклась разговором с Ейей. Собственно, не столько смыслом его речей, сколько звуком его голоса: спроси её, о чём они говорили?.. да вроде обо всём на свете! Она даже не могла вспомнить: когда и куда подевался Волоха. Потом гуляли по Тверскому бульвару, сумеречно-уютному, охваченному ночными огнями. Миронов предложил поехать к нему, и она хотела резко отказаться, но внезапно над крышами домов разразился настоящий фейерверк. Это было столь неожиданно и напоминало некий знак, что она заопасалась, что её визави не повторит своего предложения. И когда ночное небо вновь восстановило свой спокойный лиловый тон, она сказала:

– Зачем же ехать куда-то далеко. Ко мне намного ближе...

\*\*\*

(Из рукописи Миронова. О двойнике литературном).

«Нельзя сказать, что Алевтина не подозревала, как сильно притягивает к себе мужчин... Другое дело, что она достаточно поздно осознала эту свою женскую притягательность. Хотя, что значит поздно? Скажем, в отрочестве она испытала шок и... причём, одновременно с другим чувством... Тогда это чувство показалось ей стыдом. На самом деле... Впрочем, было так. Она находилась в кругу подружек, – стояли во дворе дома, щебетали, над чем-то смеялись – помнится, она была в шортах, белых, модных по тому времени шортах, привезённых матерью из Испании, кажется. И какой-то мужчина шёл мимо, и вдруг сделал странный вираж – быстро приблизился и погладил по этим самым её шортам... точнее, обеими ладонями на мгновение взялся, как за что-то драгоценное и, тут же спохватившись, бросился наутёк... Таких, как говорят некоторые, надобно отстреливать. Подружки потом не могли остановиться в своих домыслах и фантазиях, подшучивали, подзуживали... Она же сделалась пунцовой, затем побледнела, затем кровь опять бросилась в лицо... И что-то такое непередаваемое, незнакомое по ощуще-

нию обволокло её, окутало, ей стало не хватать воздуха, жар... но жар не стыда – именно что не стыд охватил её (это её больше всего и ужаснуло!), а какое-то неожиданное томление, ещё никогда не испытанное... она вдруг почувствовала себя совершенно незащищённой – никем и ничем, любой, кажется, мог взять её за руку и увести... Куда, зачем? – она ещё не понимала, но так страстно ей захотелось этого, и в то же время сделалось страшно настолько, что она заплакала... да, захлопнула ладонями лицо своё и зарыдала. И все подумали: от обиды, от стыда или унижения, которому она якобы только что подверглась. Стали дружно успокаивать, просить прощения за насмешки. Она же побежала прочь. Куда, как говорится, глаза глядят, подальше от свидетелей происшедшего...

В двадцать лет ей выпало и такое... Ну да, природная раскованность, грация молодого тела, обворожительность эдакая в глазах, голосе, мимике и жесте, бесшабашность некая, даже в смехе (а как она танцевала у костра на даче!) – всё это не могло оставить равнодушным никого из особой мужского пола. И она в этом неравнодушии плавала, как в тёплом, ласковом океане, упивалась вниманием мужчин, полагая, что и быть должно так, именно для этого и рождена она на белый свет – для упоения! Для чего ж ещё? С одной стороны это, да, льстило, будоражило воображение и кровь, делало кокетливой очаровашкой, с другой – позволяло быть разборчивой. В решительный момент она могла поставить на место кого угодно. Однако по-житейски ещё была наивна до крайности. Дома даже подтрунивали над ней – мол, отстаёт в развитии детка. У неё уже рос сынишка от любимого мужа – тогда ей, по крайней мере, так казалось, что от любимого. И мыть полы в контору она нанялась скорее для справки в институт, куда собиралась поступать, чем по материальной нужде. И вот случилось следующее. Подходит к ней как-то один из начальников отдела того учреждения и без обиняков спрашивает:

– А ты не дуд-рочка ли?

Он ещё и заикался, подлезал.

– А? Что? Да как вы сме-ете?!

– А чего бы нам и не сметь? Тебе нужна характеристика? А директору нужно, чтоб ты с ним переспала.

А не пошёл ли он куда подальше, ваш директор? Да ещё половой тряпкой по физиономии сводника!..

– Ну!.. гляди! Тебе жить. Мы-то утрёмся...

Без всякого политеса, в лоб, что называется. От глупости ли подобное происходит, от чванливости ли, от сознания своей власти и неуязвимости? Но одно дело, когда в кино («Обыкновенное чудо» – помните?) один превосходный актёр говорит другой прекрасной актрисе: я занятой человек, мне некогда разводить словеса, так что... в шесть часов на сеновале... жду-с... – это понятно, это даже смешно. И совсем другое – в жизни, когда облечённый властью чин не то что книги читать уже разучился, он и кина никакого не смотрит который уже год. Он и басни дедушки Крылова, затверженные в детстве, позабыл напрочь. Зачем они теперь ему – чинуше?

Ладно. Можно было б и забыть, можно было б и простить. Можно было б даже и в актив своих побед записать, если б претендент на обладание имел чуток совести: ну не получилось с этой соплюшкой, получится с другой... Не-ет, этот козырь-чин ещё и отмстить вознамерился: ах, мне отказали! Кроме того – послали... Тряпкой по морде ещё заехали посланнику!

Явилась наша княжна за расчётом и характеристикой, а ей... нет, отчего ж, характеристику выдали, но буквально в последний день и притом – какую?! Она – начертано было там вычурно – есмь чуть ли не исчадие ада, она развратит всю нашу интеллигенцию, разрушит устои государственные, она... Словом, есть у тебя ещё день – подумай, может – поправишь невыгодное для себя положение?

И когда, сдав экзамены на отлично, наша княжна не увидела себя в списках принятых в институт, только тогда она окончательно удостоверилась: без бумажки мы, увы, бука-

кашки... Только тогда и разрыдалась при отце, который, впрочем, лишь посетовал, что его дочь в свои годы видит жизнь сквозь розовые очки и что, без сомнения, бестолочь, раз не сказала ему о домогательствах раньше...

Короче, дело утряслось потому лишь, что отец некогда оперировал одного высокопоставленного чиновника из министерства образования и тот соответственно был благодарен...»

## 5.

Ефим Елисеевич, спускаясь по лестнице, заглянул мимоходом через перила и увидел приближающуюся бледно-розовую лысину, в обрамлении курчавых волос, и две чёрные пряди в этом венчике начёсаны к середине – одна слева, другая справа: Чурма собственной персоной – пресс-атташе Заточкина, в обиходе – Чур.

«Почему не три? Три было бы куда пригляднее. А лучше всего – крест-накрест, в клеточку или ромбик». – И ещё подумал Ефим Елисеевич, что некуда свернуть – укрыться-притаиться: дня три тому назад Чур всучил ему пачку виршей с таким предложением: «Будь моим ангелом-редактором! Ты доводишь мои стишата до ума, то есть до литературной кондиции, я издаю книжку и все преимущества от этого поровну. Не говоря уж про магарыч...» «Преимущества?..» – хотел тогда уточнить Ефим Елисеевич, но Чур уже мчался по коридору дальше, оставив подмышкой новоиспечённого редактора пластиковую папку с наклейкой: «О чистой любви!» Да, именно с восклицательным знаком.

...Ефим Елисеевич резко развернулся и поспешил в противоположном направлении, то есть вверх. Но Чур нагнал. Разве убежишь от Чура!

– Слушай, а я ведь тебя ишу. Тут мне одно дельце предложили – как говорится, на мультён. Ты как насчёт мультёна?

– А если ближе к сути?

– Суть вот в чём. Мы сочиняем что-то типа рекламы, обеспечиваем, как говорится, литературную атмосферу мероприятия и-и...

Чур отвлёкся, потому что надо было раскланяться со встречным представительным подполковником.

– И?

– А они нам мультён.

– И всё?

– Нет, почему. Это же целая кампания. Бизнесмены дают деньги, потом кое-кто из них с туристами ползут на Эверест, а мы с тобой...

– Осмысляем ситуацию. Создаём атмосферу.

– Вот именно! Люблю я с тобой общаться – понимаешь с полуслова.

– А зачем твоим бизнесменам на гору взбираться? Тем более на Эверест... Такая высокая горочка.

– Ты тёмный человек! Это ж международный благотворительный фонд!.. Где ещё, как не на Эвересте, наводить политес? Ну!

«Эверест – это метафора, или?.. Опять шутовщина какая-нибудь... Анекдот?»

Чур нередко свой бред выдавал за последние достижения общемировой мысли. Позже, однако, когда окружающим становилось ясно, что бред имеет и последствия бредовые, Чур скромно объявлял свою идею очередной шуткой и... И всё. Шефу Заточкину, видимо, нужен был и такой вот человек – шут по природе и по темпераменту. На шута не обижаются, шута не имеет смысла и обижать, но через шута Заточкин мог запустить пробный шар какой-нибудь своей идеи и узнать общественное мнение... Словом, царь и молва, юродивый и верховная власть...

– Тогда записывай. Начнём прямо сейчас создавать атмосферу. Записывай, – Миронов постучал пальцем себе по лбу. – Я залез на Эверест... и насилу с него слез. А других вообще снимали вертолётном МЧС.

– Стой-стой! Я запишу! Стой! Я действительно хочу записать! Ну стой же! – Чур полез за блокнотом в карман. – Стой! Есть ещё одно дельце. Шеф недоволен, что я у него единственный материально ответственный. Давай, я тебя порекомендую вторым...

– Ответственным материально? Хм. У меня от двух квитанций в глазах рябить начинает, а ты ответственным... Зачем? – Ефим Елисеевич прибавил шагу.

– Как зачем?! Одного убьют, второй останется.

– Да? Подумаем – обмозгуем. Ты записывай-записывай. В другой раз я тебе ещё чего-нибудь сочиню, – и резко свернул в первый попавшийся коридор. Сделав зигзаг, он спустился на нужный этаж по другой лестнице и остановился перевести дыхание, прежде чем войти в кабинет Заточкина.

За предложением Чура о материальной ответственности – задача нетрудная – опять же торчат уши Заточкина: очевидно, мудрый и прожженный кадровик-политик, каковым был шеф, хотел понять, как его сотрудник Ейей относится к преобразованию ведомственной структуры в частную творческую организацию, шелест слухов о чём уже пару недель колышет портьеры кулуаров... Может, никаких реальных планов и нет, но Заточкин такие методы использует для проверки преданности к своей персоне...

Из-за чуть приоткрытой двери услышал:

– ... Да пошёл он!.. – Это был голос шефа.

– Дело не в этом, – отвечал Чур. – Вот я вернусь из командировки, которую Мирон придумал...

– А ты ему не говори.

– Как это? Он же всё равно узнает.

– Ну и что?

Пауза.

– Но он же как-то должен отреагировать...

– Пускай.

– Но это ж его идея, шеф. Воровство получается.

– И что? На Руси идеи ничего не стоят. Важен итог – кем идея вкручена в мозг обывателя.

С идеей – это как с бабой. Ночку переспать и на утро она твоя.

– Но он же мне... морду набьёт.

– А ты боишься?.. Эх ты, майор! Такой с виду бравый...

«Вам нужно, чтоб я отреагировал?.. – спросил себя Ефим Елисеевич, благоразумно удаляясь вспять по коридору. – И как же я отреагирую? – задал он себе следующий вопрос: – Возможно, я вспылю... Им этого и нужно... Так какие мои действия?.. Вам нужно, чтоб я отреагировал?.. Смешно иль нет?

Не понимаю...»

И тут вспомнил Миронов анекдот из своего «Пособия...», в основе которого была шутка Заточкина. Шеф умел разоблачить человека и посмеяться над ним, не прибегая к прямым выпадам и обвинениям. Он поступал иначе – он режиссировал ситуацию. Так он спровоцировал и майора Чура на обличительную речь, и тот саморазоблачился, выставился во всей красе...

«Вот вам некое Учреждение или Организация (после проведённого мероприятия – с горячительными напитками). А всякое учреждение – это своего рода сценическая площадка для всякого рода инсценировок. Согласны? Тогда пошли дальше.

Мероприятие было масштабным с привлечением большого количества участников и, разумеется, зрителей. Сопряжённое, напоминая опять же, с выпивоном и выпивоном гран-

диозным. Иначе выражаясь, – банкетом, размах коего определялся и газетчиками с писателями, телевизионщиками с юмористами, а также количеством опьяневших в разной степени. Как сказано кем-то из проказников: что это за банкет такой, если никто не напился! Значит, либо нечего было пи-ити, либо закусон был настолько убогий, что никто не осмелился понадеяться «на лучшее» и не решился прикоснуться к пагубному зелью обстоятельно... Но это ещё не анекдот, это наша с вами реальность. Хотя от любой реальности, как мы уже договорились, до анекдота один всего лишь шаг. Так вот пошагали...

И, значит, мероприятие состоялось, затем закончилось, наступил день разбора «полётов». Один выпивоха, оказывается, сотворил то, другой – это. Но в целом всё нормально, даже превосходно, поскольку посторонней публикой промахи наши не замечены. А это главное, не так ли? То есть, стало быть, всё прошло по высшему разряду. Однако руководителю (руководителю любому) снять стружку всё равно надобно, необходимо даже, на будущее, по обязанности. Для профилактики (кажется даже, закон такой есть). Да и не остыл ещё наш начальник – пары спустить требуется. И все это понимают. Кое-кто если и огрызается, то осторожно, аккуратно... Кроме одного (а такой обязательно должен найтись – ну или он бросил некогда пить и теперь считает себя непогрешимым и неуязвимым поэтом, или... ну, вариантов много) – назовём его настоящим майором. Для понту. Вот он, майор Ч., поднимается со своего места – видимо, чувствует, что недостаёт нам некоего всплеска эмоций... а может, всё проще – помоложе он остальных, менее опытен и понял ситуацию слишком буквально, и на полном серьёзе решил эффектно выступить и высказаться определённо. Да столь определённо, что кой-кого потянет на философию. Типа: нормальный-де человек не от вина сваливается в штопор, а от наслоения – семейных неурядиц плюс ангины или гриппа плюс, наконец, пресловутой потери бдительности: вместо пяти рюмок махнёт бедолага шесть-семь-восемь и – готов, тащи его после этого до дому и при этом ругайся почём зря...

Впрочем, любая теория достаточно спорна. Вернёмся к нашему майору. Или, как говорится, к нашим баранам.

– Вот я сроду никого не подводил! – говорит он, майор наш. – А тем более до такой степени... – а он как раз останавливается за спинкой стула провинившегося, гулёны нашего, так что всем ясно, кого он имеет в виду. Гордо этак взирая на всех, даже победоносно взирая – можно сказать. С превосходством победителя взирая... Каково? Все промолчали, наблюдая столь дивную метаморфозу своего коллеги-майора. И не потому, что сказать было нечего, а просто... кислород в голову ударил. И – далее, пребывая, так сказать, в эйфории обличения... Это надо ещё обладать таким даром – чтобы каждый раз и каждый раз невпопад что-нибудь да сказануть эдакое.

И это анекдот? – спросите вы. Нет, конечно. Анекдотом он станет через месячишко-другой, когда наш майор Ч. сам назююкается и будет с ужасом непохмелённого вспоминать свои скоропалительные обличения... а мы ему будем сочувствовать. И радоваться будем, что в нашем полку прибыло. В полку пьющих».

Вышагивая по коридорам учреждения, Миронов в своей голове перемалывал вот что:

– ...Волоха любит повторять из Станиславского: ищите в злодее что-нибудь доброе... Чем тебе плох шеф? Разве он чужд добродетели? Организовал студию, взял тебя сотрудником, наградил медалью, посылает в командировки... Ревнив, правда, как жена... А что касается всякой мишуры, что на стенках висит – грамоты, дипломы, вымпелы... всему этому он знает цену лучше всякого... и не забывает, какую роль играют они в нашей общественной жизни... ведь встречают по одежке... да и начальство судит о твоей активности по тем же дипломам и наградам... Да и потом, сдаётся мне, что он опять подловил Чура на чём-то... и пытается его вывести на чистую воду... за мой счёт, правда...

Четверть часа спустя, осмыслив ситуацию таким вот образом и успокоившись, Ефим Елисеевич зашёл в кабинет, как ни в чём не бывало. Шеф со своим единственным материально ответственным лицом – Чуром – сидели друг против друга за большим столом, накрытым зелёным бархатом.

– Голова болит: забыть боишься кого-нибудь... – пожаловался Заточкин, подняв тяжёлый взгляд на Миронова. – Вот и сидишь со списком каждый день. Будь он неладен, этот юбилей.

– Волоху встретил, – сказал Чур, наклеивая на бутылку водки этикетку с изображением Заточкина. – Обижен на тебя. Что ты не дал ему пригласительный билет.

Заточкин криво усмехнулся.

– Ты чего так этикетку клеишь? Верх ногами!

Чур попытался ногтем поддеть приклеенную бумажку.

– Не тронь теперь! Испортишь. Типография чай не за бесплатно штампует! – Раздражённо вздохнул, подвинул к себе стопку буклетов с золотой цифрой 50 и собственной фотографией. – Иди-ка ты, Чур, займись-ка лучше насущными вопросами.

Чур охотно направился к двери.

– Постой! Ты ничего не хочешь мне сказать?

Изобразив на лице усилие вспоминания, Чур медленно вернулся к столу, глазами как бы спросил у Миронова: в чём дело, мол, не знаешь?

– Что же ты не поделился со мной? – откинувшись на спинку стула, сурово спросил Заточкин. – Куда тебе столько этих плакатов? Сбрэндил? Куда ни глянь – всюду на растяжках твоя фамилия с физиономией! Это ж какие деньжищи на ветер!

«Вот оно в чём дело!» – мысленно усмехнулся Миронов и похвалил себя за то, что не повёлся на услышанный случайно разговор об украденной идее.

– Почему на ветер? – Лицо Чура побагровело, точно его макнули в тарелку с кетчупом.

– Ты хочешь сказать, что-то изменилось в мире?

– А что изменилось бы, будь там другая физиономия?

– Ты себя со мной не равняй! Рядом со мной ты бы гляделся намного презентабельнее.

Меня знают! А ты кто такой?

– Вот и меня теперь узнали.

– Неужели? Не заметно.

Чур некоторое время молчит, собирается с мыслями, подводит в уме баланс:

– Ладно, чего ж теперь, проехали.

– Это я мог бы сказать «проехали», а не ты. Нет, дорогой, не проехали.

– Да я сам не знал об этом! Ведь как получилось – смех. Я ходил в эту вшивую газетёнку, ходил, ходил – пробивал статейку о саксофонисте этом... падла, как его? И пробил-то нечаянно, можно сказать. Они ж поначалу ни в какую! А у этого саксофониста, оказывается, тесть заведует наружной рекламой. Он и порадел. Даже меня в известность не поставил о своих стараниях. Я ещё подумал тогда: с чего это он про вечер мой творческий расспрашивает? А он, вишь, текст сочинял. Бартер произошёл, понимаешь?

– Я-то понимаю. Я смекалистый. А ты понимаешь? Ты мне оскорбление нанёс!

– Ты мне не веришь, шеф? Я ведь правду говорю. Не знал я, честное слово даю, про этот баш на баш. Не знал я!

– Ври поскладнее. Не знал он! Почесал самолюбие и всё? Личное самолюбие! А студия? Рекламируем студию – значит, рекламируем себя! Ты же личное выше общего нашего дела поставил. Вознёсся! А где плоды? Нету плодов! Нету результатов! Это обидно мне, прежде всего, как руководителю твоему. А со мной, а с нами всеми ты взлетел бы на недостижимую высоту! А то ишь – завидно мне! А теперь пошёл вон. Чмо!

Когда Чур закрыл за собой дверь, Заточкин повернулся к Миронову:

– Нет, ну ты видел, каков фрукт! Ему с-с-с... в глаза – всё божья роса. Уволить его, что ли?

Миронов промолчал.

\*\*\*

– Отчего так тяжело на душе? – Заточкин смотрит за окно, где тучи грозят непогодой. – Атмосфера, что ли, давит?.. Прямо-таки муторно мне. Боже, как муторно! Только одно важное дело раскрутишь, а уже надо ещё... Где взять на всё здоровье. Нервы ни к чёрту.

Миронов не знает, что сказать, тоже смотрит в окно. Проглядывает солнце, в кабинете становится светлее, уютнее. Но лицо у шефа не разглаживается.

– Всё есть у меня. Абсолютно всё! Так отчего?! – хлопает по столу буклетами. – Стипендия моего имени, школа имени, библиотека имени... Что не так, спрашивается? Почему грустно мне? Почему-у?

Понимая, что бос ведёт свою игру, Миронов пожимает плечами и дожидается более определённого поворота в разговоре. Впрочем, говорит:

– Прорвёмся. Ничего. Надо и это преодолеть.

Заточкин вскидывается, на сей раз без театральности:

– Пардон! Сколько можно?! Я уже напреодолевался за свою жизнь! Не довольно ли?!

Впрочем, тут же никнет:

– Выпить хочешь?

– Н-нет... пожалуй.

– Нет? – Заточкин встаёт, подходит к холодильнику, наливает себе рюмку, выпивает, всасывает прямо с блюда ломтик лимона. Садится опять за стол, закуривает. Смотрит на свой громадный портрет, писанный маслом: в парадном костюме и при всех регалиях... среди поля ромашек.

Стук в дверь. Заглядывает пожилая дама, за ней видна другая, лет тридцати.

– Можно к вам, Виктор Победитыч.

Заточкин кривит лицо – его отчество Андронович, он уже устал напоминать... но у этой дамы слишком обширные связи – и не все ещё опробованы... Заточкин замечает и молодую женщину... и преображается: будто и не было гложущей тоски-злойки, и дух наш молод вновь... И начинается игра:

– Да-да, прошу, проходите. Чем обязан столь высокому вниманию обворожительных особ?

– Ну, раз Победитыч взял такой ласковый тон, можно рассчитывать и на шампанское.

– Почему бы и нет, Людмила Петровна, почему бы и нет. – Заточкин достаёт из холодильника шампанское, затем и бокалы на стол выставляет из буфета. – А мы где-то уже встречались, – глядит на молодую полу-незнакомку.

– Об чём и речь, гражданин начальник, об чём и речь! – Людмила Петровна подмигивает Миронову, плавно разворачивается, оглядывая кабинет целиком. – Стоило вам обратить внимание на лучший конференс сезона, и я тут же привожу к вам этого лучшего конференсье.

– Ах да, в самом деле! Вы не просто бесподобно вели концерт, дорогая...

– Роза Борисовна, – подаёт руку молодая женщина и осматривается.

– ... дорогая, Роза Борисовна... Но и пели вы неподражаемо.

– Об чём и речь, Победитыч. Почему столь талантливая певица и столь же талантливая конференсье должна вытаскивать концерты разных бездарей?

Миронов хочет выйти из кабинета, но Заточкин удерживает его за плечи, усаживает на место.

– О, как уютно у вас тут, – Роза Борисовна подходит к схеме генеалогического древа в рамке. – А это что такое?

– Тут, правда... – Заточкин кашлянул, заглушая нечаянно возникшую в голосе победную нотку, затем буднично, равнодушно – натренированно: – На фото я генерал-лейтенант, однако, мне уже генерал-полковника присвоили. Я вам альбомы ещё могу показать, – достаёт из шкафа стопку альбомов и раскладывает по столу.

– И почему, Победитыч, тебе сразу маршала не присвоят? – умильно спрашивает Людмила Петровна. – Казачьих войск или каких там?..

Заточкин подозрительно косится на Людмилу Петровну – не рано ли начинаются подковырки? Затем взгляд на Розу Борисовну – в какой дозировке следует фанфаронить с ней? Отвечает бесстрастно:

– Сразу не положено. Всё своим чередом должно идти. Придёт время, будет и маршальский жезл.

Разливает в бокалы шампанское.

– За знакомство, – заглядывает молодой женщине в опрокинутые очи. Та берёт бокал и, улыбнувшись в ответ, идёт вдоль другой стены кабинета, разглядывает документы в рамках под стеклом.

– Батюшки мои, сколько всяких наград! Никогда б не подумала, что один человек может быть обладателем столько премий...

– Наш Победитыч не только сам получает, но и о других печётся, – заметила Людмила Петровна и пригубила из бокала.

– Вот как? А я как раз хотела узнать, не имеете ли вы отношение к комиссии... Тут мой знакомый поэт спрашивал, нельзя ли провести как-нибудь: стоит ли на премию в этом году претендовать или не стоит.

– В этом году уже поздно.

– То есть можно не суетиться?

– Именно так. На этот год уже всё распределили. В следующем... Впрочем, мне не совсем ясно, почему вы о ком-то беспокоитесь, тогда как сами...

– Вот именно! – Людмила Петровна доливает в свой бокал, взяв бутылку в обе руки. – Ещё выпью с вами и ухажу. Дела, знаете ли... Кстати, Победитыч, как подготовка к юбилею идёт?

– Которую ночь не сплю...

– Что так?

– Только засну, как от беспокойства просыпаюсь – не забыл ли кого включить из нужных людей в список?! Я не шучу – в поту холодном просыпаюсь. Одних vip-персон более сотни. Не считая композиторов, певцов...

– Где ж ты столько денег на банкет наберёшь?

– Друзья помогут! – и опять заглядывает в глаза молодой певице. Та, завлекаясь улыбаясь, мурлычит:

– Я-таки поражаюсь общей безвкусице!.. У вас более двухсот песен издано! С нотами! И поют их известные певцы. Не говорим про сборники и прочее. Но вот я иду мимо этих ларьков на вокзале – и что же я слышу?! Чего только не голосят. А вас нет на лотках.

По тому, как Заточкин прикусил верхнюю губу, видно, что он затрудняется, как отреагировать, ему мерещится, может быть, подвох, он смотрит на Миронова, но выручает опять Людмила Петровна:

– А это всё потому, что исполнителей не тех подбирает.

Заточкин смотрит на певицу:

– Вы слышали мои песни?

– Да. И кое-что я исполнила бы иначе. И, смею думать, гораздо лучше.

– Прошу прощения, я должна вас всё же покинуть, – Людмила Петровна берёт под локоть Миронова и выводит из кабинета, в дверях делает пальчиками характерный прощальный жест.

– Мироша, – говорит она полушёпотом уже в коридоре. – Ей-ей, у тебя такой вид, точно ты решился на подвиг. Давай отложим до лучших времён. А? Нелётная погода нынче.

Ейей удивился: чего это она с ним так – как с ребёнком, право?

– Я нечаянно унёс бокал... – Ефим Елисеевич делает попытку высвободить локоть.

– Ничего страшного. Я вот его сперва допью, – забирает у него бокал Людмила Петровна, – если ты не возражаешь. Разве я не заслуживаю лишней порции шампанского? А после как-нибудь занесу. А ты ступай, ступай... Слышала я про козни – ваш дурачок Чур повсюду разносит... А может, он и не дурачок вовсе, а? Прикидывается? Как ты считаешь?

#### 6. Дневник Алевтины. Эдуардос.

С Юлей я подружилась в институте. Она была несуетна и вдумчива. Полная противоположность мне. С остальными девчонками мне было скучно. Почему? К примеру, армяночка, которая сидела со мной рядом на лекциях, купила себе тапочки за 120 рублей, большие деньги по тем временам, и всю лекцию хвасталась ими... и были эти мелкие интересы моей соседки такими никчёмно-тягучими, такими пустыми в сравнении с творчеством Мопассана, о котором рассказывал лектор, что... Короче, я уже не знала, куда деться от её назойливости, от этих её тапок. И вообще – от всех девчачьих разговоров, пересудов, сплетен. Изо дня в день – жу-жу-жу-жу! О чём, что к чему? Я чувствовала себя провалившейся в болото. Хоть беги! Знала бы куда, так бы, верно, и сделала. И продолжались мои мучения до появления Юлии.

Она пришла на наш курс из декретного отпуска, и я сразу поняла, что это единственный человек в группе, с кем я могу общаться. Её глаза были спокойны, а речь отличалась от банальной трескотни всех остальных девчонок рассудительностью.

Её же поначалу отпугивала моя эмоциональность, чрезмерная открытость. Потом она сама позвонила. «Ты меня напрягала, даже пугала своей непредсказуемостью». А в итоге мы с ней сейчас как телепаты. Она моя совесть, а я – её. Не очень напыщенно звучит?

А так, конечно, я была очень взбалмошной и... говорила напропалую всё обо всех и обо всём, что думала. И была в этом, наверное, изрядная прямолинейность на грани глупости. И Юле поэтому, в конце концов, стало тяжело со мной, не интересно, и она стала отдаляться. И наша дружба постепенно угасла. А вот после аварии (институт уже закончен), когда я стала гораздо с большим пониманием относиться к окружающим и слабостям людским, мы вновь сблизились. Во мне что-то прочнулось, в моём сознании произошёл некий прорыв... Да. Я сделалась мягче, более требовательна к себе, чем к другим, эгоизма, себялюбия поубавилось. Я стала, можно сказать, не только себя слушать, но и других вокруг замечать и воспринимать с любопытством неофита... я будто открыла новый для себя мир, который был для меня закрыт до этого самомнением...

А в институте доходило до смешного. Юля после мне рассказывала, как сокурсницы устраивали мне бойкоты, а я этого в упор не замечала, не видела ни интриг, ни всех этих сговоровившихся сокурсниц – ни порознь, ни вместе.

Из-за чего бойкоты? Ну, к примеру. Экзамены по иностранной литературе. Экспрессионизм в рассказах Мопассана. Где это вы взяли? – спрашивает меня преподаватель. Я готовилась по лекциям Джульетты (предыдущей преподавательницы), потому отвечаю по конспекту. Я не могу вам поставить «плохо», – говорит преподаватель, – но не могу также и «хорошо», лишь, извините, посредственно. Вы, разумеется, можете читать, что хотите, использовать любые источники, но для меня вы должны отвечать только по тому учебнику, который я вам рекомендовал. Меня это возмутило. Кроме того, стипендии лишалась таким образом. Стала с ним спорить, доказывать, а он... упёрся бараном. Однако после разговора со мной вышел в коридор и полчаса курил. А, вернувшись в аудиторию, стал всем подряд ставить двойки. И девчонки из-за этого устроили мне бойкот. А я этого даже не заметила. Как того моего школьного обожателя, чьи объяснения в любви я не услышала.

Конечно, можно сказать: баран не он, а я... баронесса. Можно. Теперь. А тогда...

Я старалась быть всегда сама собой. Но натыкалась на непонимание. В любой форме. Иногда чувствовала себя гадким утёнком среди домашних кур.

С Эдуардосом я познакомилась через Тони, однокурсника моего Кости. Внешностью Тони был похож на грузина, но застенчив. Небольшого росточка мулат-кубинец. Чуть приоткрытые пухлые губы, точно в ожидании моих повелений, щербинка между двумя передними зубами. Меня он не впечатлял, но был приятен.

Тони обожал на студенческих пирушках пробовать новые русские блюда, он выговаривал: кушань-я. Особенно любил салаты, даже перетаптывался в предвкушении и потирал ладони. И я очень любила салат из свеклы. Поэтому около меня всегда ставили вазочку со свекольником. И тут же рядом возникал Тони. И мы, как два кролика-свекловода наперегонки орудовали вилками. Он приговаривал: кушань – я, мне же оставалось возражать: нет, я.

Он мне как подружка стал, Тони (почти как Юлька). Я обожала Тони за его непосредственность, лёгкость, постоянную готовность услужить, составить компанию в любом мероприятии. И возможно, поэтому он любил приходить к нам с Костей (но всегда говорил: я к тебе, Алюсь) и оставался постоянно ночевать, хотя три минуты ходьбы до дому. А я частенько делала визиты к его родителям, они у него дипломатами служили. И на Кубе я у них потом побывала однажды в гостях.

И все остальные, кстати, Костины друзья-однокашники, так же говорили: пойдём к Алюсе. Не к моему мужу Косте, а ко мне. Меня воспринимали большим магнитом, чем его, точно не он, а я училась с ними в институте, а не домохозяйкой была на тот момент.

Когда родители Тони уехали на Кубу, он перебрался в общагу. И я туда постоянно навещалась. Тони таскал меня по всем вечеринкам, концертам, театрам, выставкам, музеям – без мужа, тот не ревновал. Косте даже льстило, что я всем нравлюсь. И всё время повторял: «Куда ты от меня денешься?» Может, намекал, что я не имела специальности и завишу от него в финансовом плане, что у нас маленький ребёнок... Вот так примерно обстояли дела.

Говорю это к тому, чтобы стало понятно, какая вокруг меня на то время образовалась атмосфера... ну, что ли, поклонения. Пусть это и нескромно с моей стороны так выразиться. Если грубее, то – я была окружена мужским вниманием постоянно. Ребята не давали мне, что называется, проходу. То есть недостатка в поклонниках не я ощущала. И со всеми общалась как капризная девочка с игрушками. Могла приветить, но могла и выразить холодность. Словом, никто в сердце меня не поразил и никому я своего сердца отдавать не собиралась. Этаким воздушный флирт и не более того. Потом я устроилась на работу в библиотеку. И воздыхателей у меня прибавилось.

С кого начать? Вот художник из студии Грекова ухаживал – Женька. Его я рассматривала лишь как партнёра по теннису. Мы с ним играли на кортах ЦДСА. И когда я приходила, все говорили: как появляется Алевтина, с нашим Женькой начинает твориться что-то невозможное.

Ему нравилось, что я ходила в чулках (разумеется, не на теннисном корте), резинки от которых проступали через платье, когда мы отдыхали на скамье. Он попросту млел, когда смотрел мне на колени и на эти бугорки от резинок... Много позже я узнала, что он собирался бросить из-за меня семью. Да, много лет спустя сам лично рассказал, в ресторане – встретились совершенно случайно, и он затащил-таки в ресторан: «Как бы мне хотелось уехать с тобой на необитаемый остров!» – сказал он, чуть ли не со слезами на глазах, так проникновенно-проникновенно. А мне было весело...

Следующий обожатель – начальник одного из отделов нашего музея, Иволгин, этот хотел взять к себе – в своё, так сказать, подразделение, чтоб находилась поближе, под рукой... Как

раз у нас намечалась реорганизация и он подговорил мою заведующую, чтобы она поспособствовала и уговорила меня. А я взяла да и уволилась.

Ой, даже случайные встречи заканчивались для меня свиданием. Монетку на телефон дала дядьке и он, представь, приходил ко мне на работу... Но это так – мимолётно – вспомнилось... до этого не разу не вспоминалось.

А Женька ревновал. Да и вообще, количество сошедших с ума по мне мужиков было невероятным. А я, как дурочка, и не замечала вроде... Знаешь, как к шмелям относилась. Липнут, ну что тут поделаешь?

Ну вот, Женька мне рамы для картин мастерил. В гости звал, на кровать хотел опрокинуть. Нет-нет, сказала. Расстроился ужасно.

Любила я и помучить мужичков. Поиграть. Азарт некий владел мною.

Историк в музее ещё хотел со мной... хм, дружить. Саша. Ну и дура я была. Невероятная.

Но особенно Иволгин меня опекал, сторожил как бы, едва трясушкой не заболел, даже всем стал в тягость – так частил в библиотеку. В валютный магазин водил в Питере – ездили всей группой в творческую командировку – поразить хотел, что ли? А когда ехали назад, он сделал так, чтобы мы в одном купе с ним оказались. Но женщин наших не проведёшь! – они к нам ещё двоих втиснули. Иволгин ночью вставал несколько раз и скрежетал зубами. Опять же смех меня разбирал. И страшно, как выражаются, и смешно. Забавляло это меня, да, но не более. Потом он на концерты меня приглашал и другие мероприятия культурные... Однажды, провожая, хотел поцеловать. Я ему: «Между нами быть ничего не может!» Вот такая игра с моей стороны. «Мучительница!» – его восклицание.

Много лет спустя один мой и его знакомый – я по делу какому-то зашла в дом офицеров – набрал его номер и дал мне трубку. И мой Иволгин на том конце провода чуть ли не проглотил язык – так заикался. Затем разговорился-таки, понёс всякие глупости – про жену, про аборт, что нет до сих пор детей у него... Между прочим, похвалился, что чин полковника ему дали, ездит теперь на чёрной «волге». Чепухня, короче. Да. И та женщина, которая запала на него, прямо возненавидела меня. Это тоже помню.

Я не обо всём и не обо всех рассказываю – лишь делаю набросок, чтобы понятно стало, в какой момент своей глупой жизни я встретила с Эдуардосом. А пока продолжу про Тони.

Отец мой любил его почти как сына, выделял его среди всех наших друзей, потому что увлекался Кубой и очень любил разговаривать с Тони обо всём, что касалось этого острова Свободы (его даже прозвали Федька Кастрюлькин – Фидель то есть Кастро).

Короче, дружили основательно. И Тони иной раз говорил мне с улыбкой: «Если б ты знала, как мне порой тяжело бывает рядом с тобой!» – Мне это льстило, не скрою, хотя я опять же не воспринимала это всерьёз.

Ну вот. Незаметно подкралось время защиты дипломов в МАДИ. И Тони устроил прощальный вечер в общаге. Но со всей их группы был только Костя да я при нём, остальные – сплошь кубинцы, да и то скорее заскакивали – по делу якобы: кто письмо передать, кто... ну не важно. Помнится, я с утра уже была наэлектризована и не могла дожидаться, когда придёт время идти, а Костя, как на зло, задерживался. И тогда я отправилась одна (сын был у мамы, она уже вернулась из Португалии, где пробыла три года). Прихожу в общагу. Самого Тони в комнате не застаю, но был кто-то незнакомый – он сидел за письменным столом спиной ко мне, в рваной футболке и почему-то в кепи на голове, хотя на дворе стояло знойное лето, и в помещении было достаточно душно. Да, я увидела сперва только спину незнакомца... и – что-то наподобие электрического разряда пронзило моё тело, так я неожиданно прореагировала на эту странную фигуру в полутёмной комнате. Затем незнакомец обернулся, и я спросила про Тони. Мой незнакомец вскочил, снял кепи, повертел в руках, опять одел, а я смотрела на его рваную футболку. Потом стала разглядывать его самого – прямо как экспонат: передо

мною стоял, слегка покачиваясь с пяток на носки настоящий испанец. Вы представляете эту породу? Лишь самбреро не доставало.

Тут как раз Тони и явился, и познакомил нас... Да, всю вечеринку Эдуардос грустно поглядывал на меня. Мы пили кубинский ром, ели рис, что-то ещё... Я обычно привередлива, а тут ничего больше и не запомнила из еды. Как бы всё стало неважно. Этакое странное опустошение в груди, в душе ли...

Так вот, переглядывались мы с Эдуардосом, переглядывались, а перед самым уходом я хотела... Вернее, вспомнила историю, как одна моя знакомая передала записку поразившему её мужчине. И так мне захотелось сделать то же самое. Ни о какой морали я не думала. Вот взять и передать записку с телефоном и всё! И тут же гордыня во мне встопорщилась. И я ушла, даже не попрощавшись...

Потом Эдуардос сам взял телефон у Тони. Сперва спросил у него: есть ли отношения у него со мной. И Тони мне сказал после, что я нравлюсь Эдуардосу. Но только через полтора месяца – уже после отъезда Тони на Кубу – он мне позвонил... И все эти полтора месяца он не выходил у меня из головы. Образ его нет-нет и возникал перед затуманившимся моим взором. Сам собой. Смотрела я на Костю, а думала про Эдуардоса.

И вдруг он позвонил... и я, ещё только трещал телефон, подумала, что это он. И это оказался он! Он!

Мы договорились встретиться в парке ЦДСА. Предлог: Тони написал мне письмо...

Встретились в обеденный перерыв. Гуляли по парку вокруг пруда, где на островке в домиках обитали лебеди... Я улыбалась от счастья... Да, я была счастлива. И все, казалось, видели – и сотрудники-знакомые видели, которые тоже прогуливались после обеда по тем же дорожкам, как я была счастлива. И официант в ресторане спросил: «Алевтина, что с вами?» – то есть это было на моём лице пропечатано аршинными буквами, и все обращали внимание.

Я расспрашивала Эдуардоса о Тони, а он отвечал расплывчато как-то... И я поняла, что письмо для него – лишь повод, просто он хотел увидеть меня. Я позвала его в гости на следующий день. Сделала окрошку. Была в таком состоянии, что не могла убираться в квартире, ходила с веником, тряпкой, роняла их, а то и попросту забывала, для чего они у меня в руках. Эд принёс с собой спирт (он химик): специальный какой-то спирт, на вино или на что-то другое у него, должно быть, денег не хватало.

Он пошёл мыть руки, не стал их вытирать... дай, говорит, твои ладони. Током шибануло меня, так мы были наэлектризованы. А меня уже несло... потом я сожгла и его фото и часы его старые выбросила, всё, короче, что было с ним связано... но то было потом.

Пришёл Костя. Сели обедать, беседовали, Костя быстро запьянел. Мы с Эдом стали танцевать. И я, хоть и не пила ничего, чуть ли не в обморок сползала...

Эд остался у нас ночевать. Я долго стояла под душем, пыталась успокоиться, надеялась, что вода с меня смоев наваждение, рассчитывала, что когда выйду, все будут спать. Но свет в комнате, где мы Эду постелили, горел...

Я сижу на кухне. Костя спит. Я захожу к Эду в комнату, я сажусь к нему на кровать и всё – валюсь в его объятия... Это было безумие, только под утро уползла. Мы не могли друг другом насытиться...

Когда Костя проснулся, у меня лицо было точно коркой покрыто. Для Кости всё было ясно, но он подавил в себе... Эд ушёл. Назавтра позвонил, на Новослободской мы встретились (там его завод был). Сказал, что не хотел мне звонить несколько дней, но не смог выдержать. И скоро ему домой на Кубу. Всего две недели у нас оставалось. Полтора месяца после нашего знакомства не мог позвонить, а за две недели... Я плакала. Рыдала. Сплошное безумие.

Потом он уехал на лето. В свою кубинскую даль.

Костя, повторяю, всё знал, но я не хотела с ним об этом говорить... И потекли пять мучительных года. Эд то уезжал, то приезжал. Меня будто уничтожали, умерщвляли. Порой я теряла соображение напрочь. Истерики...

...И вот как-то, думая, что он вот-вот должен приехать, позвонила я своей приятельнице по бывшей работе, Нинке (я тогда уже уволилась из библиотеки), и попросила её сразу же мне сообщить, если кто-нибудь будет меня разыскивать: «Недельки через две, – сказала я. – Очень важный для меня человек». Я через океан почувствовала, именно за две недели, что он должен приехать. И Нинка мне перезвонила (через две недели, день в день): «Алюсь, ты что, колдунья?» А через четверть часа позвонил сам Эдуардос... Моя подруга Юлька уехала в Италию, Костя этого не знал, и я говорила при нём с Эдом, будто с ней. Эд ничего не понимал (ведь он испанец), всё же догадался назвать номер комнаты в общежитии.

Костя вскоре ушёл на работу. Я посмотрела на себя в зеркало: всё лицо пошло пятнами. Попыталась привести себя в порядок. И сумасшедшей поехала. Вхожу к нему в комнату и со мной истерика: бросилась в объятия...

– Я не ожидал, что ты так скоро...

– Я же летела на крыльях...

И... любовь-морковь.

Всё это было для меня тяжелее тяжёлого. И так постоянно – муки жуткие. То и дело пыталась оторваться, отделиться от него. И в 91-м я улетила с сыном в Пакистан к матери погостить. Это был тот самый день – почему хорошо и запомнила, – когда на улицы Москвы выползла бронетехника. Для меня это не было ни переворотом, ни путчем, ото всей политики я отстояла тогда далеко-далеко – и помыслами, и душой, и телом; эти внешние события принимались мной как в украинской поговорке: паны дерутся, а у парубков чубы трещат. А Эд через несколько месяцев отправлялся к себе на родину окончательно. Вот я вернулась из Пакистана, а он, значит, должен уезжать со дня на день... Он не знал, что я вернулась... и я к нему не поехала. Решила твёрдо: больше не могу. И он уехал. А годы спустя, будучи на Кубе (мamu уже туда перевели), я его искать не стала.

А с Тони мы там встретились, в первый мой приезд. Один раз всего. Он работал в тамашнем КГБ. Был женат на нелюбимой женщине – так сказал. Показывал Гавану, повёз меня на пляж, в тёмный кабак какой-то затем пригласил. И мы с ним танцевали. Он, очевидно, думал, что у нас случится близость... Бог мой, как его трясло! Очень меня хотел. Я по голове его погладила, спросила про Эда. Ответил не без досады: работает, мол, на заводе – стекло из сахарного тростника пытается делать. Или что-то в этом роде. Неудачно женился...

Вечером Тони привёз меня назад в посольство. По дороге встретил своего коллегу из Комитета... и когда я пригласила его на обед, сказал: «Я не могу...» И всё. Может, даже неприятности из-за меня возникли у него. Так он исчез с моего горизонта навсегда.

Сейчас вот вспоминаю. Лесная поляна. Жёлтая сурепка. Эд несёт в зубах мои ажурные трусики – и так грозит придти к нашей общей компании, а я пытаюсь отнять... смеюсь. Остальные уикендовцы, в том числе муж, гуляют где-то неподалёку.

А как соскакивала с электрички... Собралась в Тулу на дачу и Костя меня провожал. Я чинно вошла в вагон, подождала, пока муж уйдёт, и прыгнула на платформу с другой стороны. И увидела Костю. Стоит, смотрит, слегка ухмыляется. Я стала оправдываться – дескать, передумала ехать, но, кажется, зря... И мне после было невыносимо обидно, противно даже – за себя, за то, как я оправдываюсь, пытаюсь убедить... вовсе не потому не поехала, а... И ох уж эта его усмешка молчаливая, с которой он на меня смотрел...

Потом часа два по жаре ехала без остановок до Кашина. И два часа – назад в Москву. А у Эда – гости. Я прошмыгнула в ванну. И когда гости ушли, наконец... ночь без сна на узкой кровати. Назавтра Эд должен уезжать... И я его спросила: что он думает о моём муже? И он

ответил: что всё это Костей подстроено нарочно, тогда, в первый наш... «Он хотел разбудить в тебе женщину... сам не смог, вот и... решил позвать другого...»

Пять лет мук – побег к другой жизни?.. Меня выпотрошила эта любовь... я задумывалась о суициде.

Потом как-то вынесло. Я пошла в клуб аэробикой заниматься. Появился какой-то смысл.

Я была центром, я была сама в себе... Я не понимала мужчин, с которыми была. А сейчас во мне что-то изменилось. Теперь я понимаю, например, сколько мужества было в Эде... И что они, остальные, не могли дать мне того, в чём я нуждалась – всепоглощающей любви.

Кстати, у нас с Эдом были на ладонях совершенно одинаковые линии жизни, а к пятому году стали расходиться...

Тогда же поссорилась с отцом из-за Анны Карениной. У него был свой взгляд на Анну... Я чуть позже, когда успокоилась, записала его монолог, и, пожалуй, процитирую – напомним самой себе и подумаю: стоило ли обижаться:

Начал он так:

– Ах, ты на стороне Аннушки? Ну конечно, как может быть иначе. Но давайте, хоть и не по пьянке, но разберёмся всё ж, что есть такое наша обожаемая Аннушка...

– А почему ты её так запанибратски обзываешь? – насторожилась я.

– Хорошо, пусть будет Аня, какая разница. Мы либо о сути говорим, либо вообще нечего разводить тарусы... Дело ж не столько в ней, сколько в хитреце Толстом. Ведь Лёвушка облекал свои концепции в поразительно художественную оплётку – в живое, что называется, мясо. Так одевал в плоть и кровь, что закачаешься!.. Ну не отличишь от жизни и всё тут. Потому о концепциях и забывалось. Потому о тенденциях и тенденциозности не говорим. А это же очень опасно, согласись. Перепутать жизнь с литературой – не просто драма, – трагедия! И многие путали. Заблуждались. Укладывали свою жизнь на алтарь веры или безверия... вместо того, чтобы жить своей собственной жизнью. Понимаешь?

– Гни дальше, – насупивалась я.

– Гну, баронесса! Ну, действительно ж художник с наиглавнейшей буквы... не кидая камня в зарубежный огород, конечно. Да, так вот-с. Пластика, аромат, звук... всё присутствовало. Поэтому Аннушка нам всем симпатична до... тошноты. Пардон, – глянув на меня, поправился отец, – до забвения, хотел я сказать. Тем более с обворожительным Вронским. А если на текст наложить кино с превосходными артистами – о-о! – незабвенными Гриценко, Лановым и Самойловой... Да все там, кстати, поразительно, талантливо играют. И балерина та же известнейшая. Живут! Режиссура бесподобна. Но я отвлекся... Итак, в сущности, Лев Толстой над нами насмеяется. Как так? Да так. Человечество трудно, с невероятными потерями двигалось к такому общественному институту – как семья. Потому что только семья способна дать полноценную защиту ребёнку. Обеспечить воспитание, пропитание и прочие потребности. То есть обеспечить будущее человечества, без преувеличения. Так? Вопрос риторический. А раз так, то всякие игры по разрушению семьи преступны и подлежат наказанию. Как снизу, так и сверху, – отец посмотрел на меня: понятно мне – нет? – и продолжал: – Преступны в глобальном смысле. А вот в частности – да, за свободу личности, за эмансипацию... – это всё и есть частности. Обманул нас Лёвушка! Обманул. А тут ещё и кино! Причём, как интересно. Гриценко, гениально сыграл Каренина и как бы сделал их... ну, этих... жертвами своей тирании... якобы. Не надо было ему так гениально играть! Не надо. Больше было б возможности посмотреть на всё объективно.

Отец ехидно пригнул голову.

– А объективность такова, что ваша Аннушка... наша-наша... я также в неё влюблён, как и ты, мадам. Но объективно она – шизофреничка. Обыкновенная шизо. Да-а. Зачем Лёвушка взял в героиню... в героиню... в общем, взял зачем шизофреничку? Отвечаю. Все художники

так делают. Через больного человека гораздо легче донести до читателя и зрителя свою идею. Понимаете. Тот же идиот, скажем, Достоевского. Ну возьми ты нормального человека – и что? Да ничего. В смысле, ничего особенно выдающегося не получится. Нормальный человек он и есть нормальный. Он особо на провокации не поддаётся... гад такой. И потом, если наша Аннушка такая восторженная и непосредственная, так сказать, отчего ж она замуж по расчёту вышла? И затем – разведите меня, но только при полном пансионе, полном обеспечении, к какому я привыкла. Что-то тут опять не сходится, а?

– Ну, – вспыхнула я, – ты ж сам себе противоречишь. Ратуешь за семью и тут же бросаешь своих детей...

– Я про Аннушку... к слову, так сказать. О том, что незачем слепо подражать...

– А я подражаю? – вскинулась я и показала зубки.

После этого мы полгода с ним не разговаривали.

## 7.

Вчера Миронов предложил Алевтине посетить книжную ярмарку. Предполагал, что она найдёт самоотвод. Ошибся: она восприняла приглашение с энтузиазмом, даже обещала позвать отца, который жил от выставки в двух шагах.

Заточкин использовал ярмарку для презентации своей книги.

Выполнив кое-какие организационные поручения, Миронов примостился неподалёку от своего стенда и стал наблюдать, как Чурма рекламирует в микрофон своего шефа:

– Лучший поэт-песенник года! – вещал Чуру с искренним воодушевлением. – Почётный гражданин города!.. Кавалер сорока литературных премий!.. Вы можете сейчас купить и диски и сборники и, не отходя, как говорится, от кассы, подписать свои приобретения у самого автора! Пользуйтесь случаем! Не упускайте шанс! Сегодня вам доступен гений – в непосредственной близости... Доступ свободен, но ограничен временем. Спешите да успеете! Эксклюзив обретёт в будущем значительный вес и цену редкостного раритета! Спешите и вы обеспечите своих внуков духовным и материальным благом!

«Кто, интересно, сочинил эту благоглупость, неужто сам Заточкин? Надо бы спросить...» – Миронов видит: публика вяло реагирует. То ли совсем потеряно чувство юмора, то ли всё подобное надоело ей до отрыжки – это ёрничанье теперь повсюду.

Сам Заточкин сидит неподалёку от стенда, едва уместаясь за столиком (столлик мал – живот велик), и, не морщась, подписывает свои сборники посетителям, как будто отрезает ровные порции пирога с маком, и отодвигает в сторону, освобождая место для других... На лице его блуждают значительность и что-то вроде опьянённости торжественностью момента.

Тут к Чуру подошли из других павильонов и попросили убавить громкость...

Увидав поднимающихся по лестнице Алевтину с отцом, Миронов поспешил в немецко-русский павильончик, где пропагандировалась электронная библиотека, раздавались бесплатно компакт-диски и шоколадные конфеты.

Когда вернулся с конфетами в кармане, Алевтина и Илья Сидорович стояли с Заточкиным, и все помощники от студии роились вокруг них и что-то горячо обсуждали. Поистине, у Алевтины дар – собирать вокруг себя поклонников...

Побродив среди толпы у других павильонов, Миронов направился к выходу. Там уже стоял Заточкин – в ожидании, что кто-то его узнает и подойдёт за неполученным по забывчивости автографом? – это за ним – знатоком психологии и механики людского поведения – и раньше замечалось на других мероприятиях: он так же стоял у выхода, подбирая последки славы. Или – мелькнула вдруг догадка – ещё раз покрасоваться перед Алевтиной?

\*\*\*

Когда Илья Сидорович у себя дома варил для своих гостей пельмени, то, уронив сырой пельмень, сперва отпнул его в угол, затем воровато оглянулся и подобрал, после чего, как картёжник из рукава, украдкой сунул в кастрюлю.

«Надо запомнить, – заметил себе Миронов. – Характерная деталь... Как-то сумбурно прошёл день, неприятный осадок...»

Теперь предстоял ещё вечер официального открытия Студии. Алевтина в последний момент передумала идти: у неё разболелась голова.

\*\*\*

Столик, за которым устроились Ейей с Волохой, находился в самом конце актового зала, но и тут гул гостей мешал разговаривать, поэтому Ефиму Елисеевичу пришлось пригнуться над столом, дабы сократить расстояние до конфиденциального.

– Слушай, я вот всё думаю, откуда произошло слово...

Тут, однако, поверх Волохиного плеча Миронов увидал на входе отца Александра и, встав, помахал ему рукой. Священник слегка поклонился в его сторону и повернулся к Заточкину.

– Так ты про какое слово?

– Реклама.

– Ну?

– Рек Лама. Лама изрёк. А Лама, сам знаешь...

– Ты думаешь, он придаёт какое-то значение всей этой рекламе собственной персоны?

Сомневаюсь.

И увидав по лицу Ейей понимание, о ком речь, продолжил:

– Просто он преотлично осведомлён о психологии и вкусах среды обитания. И долбит и долбит в одну точку. Кто там из древних постоянно говорил на собраниях: Карфаген будет разрушен!

– Я разве спорю? Чего ты раскукарекался? В адепты записался? Кстати, хочу познакомить тебя с батюшкой. Очень образованный человек. И пишет весьма и весьма...

– О чём же он таком пишет?

– О духовном, мой друг, о духовном.

– Да? Надо у него тогда кое о чём поспросить. Он подойдёт?

– Должен.

– Но как он сюда затесался?

– Ты не дооцениваешь нашего боса. Заботясь о нашем благе и престиже организации, он рыщет и рыщет повсюду... и у всех попросит, и всем пообещает. Талант, одним словом. А тут всё-таки двойное торжество. Круглая дата и рождение студии... Да ещё книжка вышла – это уже...

– Три. Освятить решил? Да ну?!

– А ты против?

– Я-то не против! Но ты разве не читал последний его стих?

– Ну и чего там?

– Да он с Христом расчихвостил в пух и прах.

– В каком смысле?

– В таком... Прямом. Не будь Тебя, сказал, не было б столько хлопот. Были мы раньше свободны, как дети, и в этом наш крепкий оплот. Ну что-то в этом роде. Язычник, одним словом.

– Подожди! Кто-то из... известный поэт прошлого столетия уже сочинял подобное... Как его?... Да быть не может! Он же осторожен, как не знаю кто.

– Так во-от, и я о том же. Стало быть, кому-то по дружбе... Ангажемент.

- И опубликовал?
- Этого не знаю. В рукописи соизволил... посоветоваться.
- И что ты ему посоветовал?
- Т-с. Твой батюшка... к нам направляется. Ему руку целовать обязательно?
- Это сугубо личное дело. Он прекрасно видит, кто перед ним...
- И кто же я?
- Да то же, что и я. Пр-родукт эпохи атеизма.

Через минуту, едва седовласый отец Александр, присел за столик, Волоха предложил тему для беседы.

– А вы читали, батюшка, поэта... Тришкина? Талантливый, впрочем, но... расправился с Христом в одном своём стихотворении.

– И в чём же заключается сия расправа? – спокойно и чуть насмешливо посмотрел на Волоху батюшка.

– Видите ли... поэт сожалеет, что учение Христа заменило язычество. При нём душа человека, по его мнению, чувствовала себя вольготнее, свободнее. Человек якобы жил как часть природы, был ближе и к космосу.

– А вы скажите мне, как он закончил свой бранный путь?

– Ну... знаете ли, он ещё не закончил. Планов у него, как я полагаю, воз и маленькая тележка.

– Что ж... Человек не может работать со своим сознанием и своим талантом... э-э... один. Обязательно на пару. Какая наша главная отличительная черта от животных? Сознание, так? Со-знание, со-трудничество... со-действие... знание совместное, значит. Иными словами, либо он с Богом, либо с Дьяволом. Если человек-творец живёт с Богом, открыт для него и молится ему, то Бог его таланты будет увеличивать и направлять. Ко благу всем. Но ежели человек на волне дьявола... ежели не верует в Бога или является верующим формально, то делами его заправляет дьявол. Человек этот может быть очень талантлив, но произведения его несут страшный, разрушительный заряд.

Отцу Александру показалось, что его окликнули, и он полуобернулся – Заточкин по-прежнему встречал новых гостей...

– Ещё не скоро, батюшка, – успокоил Ефим Елисеевич. – В списках столько народу, что будем мы тут навряд сельдей в бочке.

Отец Александр вернулся к прерванной мысли.

– Временами... Возможно, вы слышали о таком явлении в психиатрии – альтернирующая личность. Врач наблюдает состояние такого пациента и видит, что тот становится как бы другой личностью: в состоянии изменённого сознания у него появляется определённая лексика, ранее ему не присущая: другой стиль мышления, другая энергетика. Например, из спокойного, уравновешенного человека он превращается в агрессивного, злого. От него прямо-таки пышет яростью. Затем – раз – и личность эта, яростная и злобная, так же внезапно исчезает, и возвращается прежняя. Так вот, у всех поэтов и художников, которые не являлись богоборцами, сознательными, нередко наблюдался подобный синдром. Когда дьявол не воздействует на них, они пишут иногда дивные вещи. Но в состоянии изменённого сознания, они творят совсем иначе... Скажем, ночью вскакивает такой творец и записывает уже готовые фразы... ложится опять спать, утром читает: неужто я сочинил? А сочинил-то не ты. Дьявол тебе сочинил, один из тех, кто с тобой контактирует, и тебе продиктовал, а ты записал. Многие сочинители признавались: я-де закрываю глаза и вижу бегущую строку, мне остаётся только зафиксировать её на бумаге. Вот вам и ответ на вопрос: как кто пишет. Значительная рать деятелей культуры – музыкантов, поэтов, художников и писателей – творили совместно, их сознание работало совместно с дьяволом, а не с Богом. Поэтому у разных сих творцов, взять того ж Есенина, мы находим – стихи дивной и даже духовной красоты. Журавли там, храм на горе... за душу берёт.

Даже на песню переложили православные люди и поют. И он говорил: я верую в Бога, в мать божью... но почему же временами мне хочется хулить Господа? И я тогда пишу страшные стихи! Сам признавался. Был такой эпизод, забрался он на колокольню Страстного монастыря и начертил на стене непотребное слово... как он туда забрался, не понятно. И чёрной краской намалевал, значит, страшное богохульство. Вот вам, пожалуйста. При этом он, повторяю, говорил: я верующий человек.

Ведь что происходит. В человеке две-три личности живёт. Понимаете? Вот и всё. Поэтому есть хорошие произведения, а есть и не очень чтобы...

В духовной жизни важен самоконтроль. Человек сам смотрит и определяет: ага, от кого это пришло? От Бога? От дьявола? Или самого человека? У личности тоже ведь есть свобода. И духовный человек должен чётко определять... научиться этому. Это опыт и труд. Научиться определять: что, откуда у меня это в голове. Откуда эта идея, откуда это желание? Или эмоция. Допустим, человек впадает в депрессию, ему всё плохо, ему мерещится – в предыдущей жизни всё ужасно, в настоящий момент опять же не лучше, а впереди просто мрак. Но если он себя остановит и скажет: стоп! А ну-ка давай подумаем: что плохого-то? Так, кто-нибудь у меня помер, из любимых? Нет. Может, война началась? Нет. Или трамваем руку мне отрезало? Нет. Может быть, я голодный, мне есть нечего? Холод на дворе и я околеваю?.. Какие причины мне впасть в уныние? Почему мне плохо? А, брат ты мой, это ты на меня гадость навёл! Схватил псалтырь, прочитал две кафизмы, и всю твою мирихлюндию отшибло как дубиной. Вдруг уходит мрачное состояние, на душе радость, счастье... смотрит: небо голубое, солнышко светит и греет, так хорошо! А я-то чего угнетён был, сейчас вот, почему? Вот так же точно и мы должны всё время работать над собой. И мы работаем, православные. А другие люди, неверующие, они таких вещей не знают. Они постоянно находятся под дьявольскими эмоциями, нечистыми помыслами, живут не своим умом буквально. Я не ошибусь, если скажу: процентов девяносто населения земли – марионетки. Есть люди, говорящие: я хочу! А на самом деле... Я так чувствую! А на самом деле ему внушают, их дёргают за ниточки. Почему? Да всё потому же: человек с ними не борется...

Отец Александр вздохнул, разгладил свою седую бороду обеими ладонями, поглядел на Волоху.

– А как насчёт Фрейда, к примеру? – поспешил тот подбросить вопрос, как хворост в огонь.

– Ну, из нынешних кумиров я редко за кого имею возможность, да и охоты нет говорить похвальное слово. Что касается Фрейда – так он психически нездоровый человек, гомосексуалист. А это – тяжелейшее духовное и психическое заболевание. Иначе говоря, одержим дьяволом...

– А Ницше?

Батюшка слегка повёл плечами:

– Все произведения названного вами философа написаны в течение двадцати лет, когда он находился в психиатрической больнице города Базель. Я читал историю болезни, где написано: в такой-то день... м-м... больной пил мочу из своего собственного сапога. Другой день... э-э... заявил сторожу больницы, что он Бисмарк. Третий день: прыгал на одной ноге и блял, ровно козёл. И так далее.

– А...

Отец Александр чуть заметно улыбнулся.

– Злополучный Вольтер также страдал тяжёлым психическим заболеванием, которое проявлялось в виде эгсбиционизма.

– А...

– Жан-Жак-Руссо испытывал сексуальное удовлетворение, когда его женщина стегала плёткой... Модельяни выбросился из окошка.

– Вы прямо спец, батюшка...

– Да, по своей прошлой специальности я занимался этими вопросами достаточно скрупулёзно... И вот эти люди были продвинуты масонами как светочи.

– Неужели всё так мрачно?

– И совсем иное Иоганн Себастьян Бах. С ним случилось чудо, и какое великое. Господь показал его богоугодность. Последние годы жизни он сочинял под диктовку, потому что ослеп. И вот пришёл день смерти. И он позвал всех детей – а у него их было тринадцать, – там уже и внуки были, и много другой родни. И с ними со всеми он решил проститься. Ему, как видим, был открыт день собственной кончины. И вот представьте, вдруг этот слепой уже лет пятнадцать старик прозрел и увидел всех. Со всеми попрощался, всем сказал доброе слово и почил в тот же день. Вот такая благочинная кончина у этого композитора. То есть то, что он угоден Богу, не вызывает сомнений... Так вот... – отец Александр вновь разгладил бороду. – Как фамилия, вы сказали, поэта-язычника?... Впрочем, не важно. Христианство – оно в откровении живого и личного Бога, создавшего человека по Своему образу и подобию. Как я понимаю, вы осведомлены, что мысль христианская унаследовала из античной философии лучшее, в чём уже были и есть отблески Откровения. Вспомним Сократа с его призывом к самопознанию. Для христианина такое самопознание должно вести к смиренному постижению красоты Первообраза, к нравственному и духовному самосовершенствованию в доброте и мудрости сознательной аскезы. Именно сознательной. Что же касается писателя, у которого исключительно высокое чувство самодостаточности, то гордыня мешает ему стяжать евангельскую «нищету духа». А ведь, как бы он ни был талантлив, с него не снимается ответственность за это знание на последнем суде, ему предстоит держать и другой ответ – за свои дарования... Я ответил на ваш вопрос?

– Благодарю, батюшка. Я вот только... – Волоха хотел ещё что-то спросить, но Миронов попрердержал, коснувшись его плеча.

– К нам прямым курсом идёт Заточкин-младший. Прошу любить и жаловать. Кстати, он недавно из нарколечебницы...

– Майкл, – представился молодой человек и, придвинув от соседнего столика свободный стул, сел без приглашения.

– По-русски то есть – Николай или Михаил?

– Да, батюшка, Михаил. Я услышал ваш разговор и решил присоединиться. У меня к вам тоже, знаете ли, вопросец.

– Ну-у, мы батюшку так замучим...

– Ничего страшного, Ефим Елисеевич. Так о чём бишь, как вы изволили выразиться, вопросец?..

– Ну, во-первых, когда церковь наша начнёт бороться за власть?

– За какую власть, уважаемый? Церковь не вмешивается в светские дела. У неё другие задачи.

– И какие же?

Волоху, видимо, покоробил запанибратский тон младшего Заточкина, и он демонстративно закрыл глаза носовым платком:

– Не надо дерзить батюшке, вьюнош.

Отец Александр успокаивающе выставил перед собой ладони:

– Отчего же, Михаил вправе знать... значит, и задавать вопросы вправе.

– Спасибо, отче. А то чуть что, сразу воспитывать начинают, кому не лень. А вообще-то мне надоели эти детские игры, а именно: соперничество брата с братом, брата с сестрой, мужа с женой, отца с сыном...

– И давно? – опять не утерпел Волоха.

– Да уж с неделю – точно.

– Впечатляет.

– Да, я люблю только одного человека прикармливать. Это – самого себя. Остальных – нет. Даже собственную жену. Будущую. Это – во-первых.

– Неосмотрительное высказывание

Отец Александр вмешался:

– А во-вторых?

– Недавно я книжку прочёл некоего священника. Сольев, кажется. И получается у него, что вся литература наша – И Пушкин с Толстым, и Лермонтов с Гоголем – всё это мура. Масоны все и никакой настоящей духовностью не пахнет... И надо читать одних святых отцов...

– А вы тоже сочиняете?

– Я? Ещё чего! Но па-паня-то мой пописывает... Кстати, вы в курсе последних изысканий относительно сознания? Наш мозг принимает решение за шесть секунд до того, как мы объявляем якобы своё решение. Сознание наше, оказывается, всего лишь транслирует уже готовенькое решение! Да, но я хотел вот о чём, – юноша пристально смотрит на Миронова, затем на Волоху. – На вашем месте я написал бы сценарий по Кастанеде.

– А разве мы уже поступил в твоё распоряжение? – при этом Миронов примирительно улыбнулся. – Да и зачем мне это?

– Как? Вам не интересны люди знания?

– Почему же, мне интересны люди знания, так называемые толтеки. Но мне, знаешь ли, хочется выразить себя, а не быть популяризатором латиноамериканского менталитета. Пусть тамошние сценаристы решают этот вопрос. А у меня и русских вопросов полон рот.

К столу, точно на подносе неся свой живот, подошёл Заточкин-старший:

– Мой отпрыск, надеюсь, не утомил вас своей любознательностью? – И сурово взглянул на сына.

#### 8. Дневник Алевтины.

Время, что ль, такое было – я как раз институт закончила: все в банк, все в банкиры. Веяние, так сказать. Мода. И вот моя двоюродная сестра, Леонора, порекомендовала меня своему Масолову – президенту крупного банка. Она с ним то сходилась, то расходилась, и теперь вот опять вернулась, он купил ей квартиру... Ну, в общем, порекомендовала, и я очутилась в финансовой сфере, референтом этого самого президента. Правда, хватило меня всего на два месяца. Дебеты-кредиты – всё это надоело до чёртиков. Там ещё охранник, парень симпатичный, стал ухаживать. Клиенты сплошь сальные: «Мы должны с вами обязательно встретиться в Метрополе...»

И там меня никакие, конечно, деньги не могли удержать. Это – для Леонорки. Она считает естественным, чтоб её покупали. И чем дороже, тем она комфортнее себя ощущает. Это у неё папаня генералом был. Мне же всё это представлялось как-то очень уж омерзительным. Кстати, Леонорка сама позвонила: вот, мол, я ухожу, ты за меня... Я же тогда не подозревала о подлинном значении её слов: «ты за меня». Я и решила попробовать. А она ушла к другому клиенту, потом, как я сбегала, вернулась к Масолову... Об этом мне американец рассказал, – это для меня было ужасным ударом... ну в смысле, что не она сама рассказала заранее.

А в самом начале такой карьеры я на первую зарплату книгу дорогую купила. И Костя сильно возмутился: «Я, что ли, буду возить тебя на работу и обратно, а ты, значит, книжечки...» Зауряден был во всём.

Но я не об этом. Как-то пришёл бизнесмен Смит, американец. И в отличие от любителей клубнички – этих сальных приставал – показался мне очень даже достойным внимания: галантным, сдержанным, воспитанным и порядочным. И я ему приглянулась. Уходя, он оставил телефон, позвоните, сказал: насчёт работы в инофирме.

Встретились, поговорили. Повёл в плавучий ресторан на Москва-реке. Хорошее вино. Всё было по-деловому, а потом съехало на неделовое. Сперва в шикарную квартиру на Калининском забрели. Не могу объяснить, как это у меня скатилось...

А с американцем до сих пор общаемся – только отношения тихо-мирно перешли в ресторанные. Так – встретиться, поболтать... Это много позже он стал говорить, что лучше меня нет никого на свете и... хотел вернуть былое, что называется.

Словом, американец меня тоже разочаровал. Хотя и водил по ресторанам, кормил миногами и утками в сливах, но... не тот менталитет. Не мог он поверить, что мне от него ничего не нужно: ни денег, ни имущества, ни положения-статуса. А возможно, наоборот: именно это и привлекло... однако и настораживало. Им, таким, когда мотивы не ясны, некомфортно... они начинают примерять на клиента шизофрению. И впрямь – русская дурочка: ничего-то ей не нужно... Всё во мне было – и непорядочность, и другая всячинка... Единственного, чего не было – алчности.

За американцем были и другие, но, что называется, на одну ночь. Был музыкант Сёма. Консерваторию закончил. Хором каким-то руководил. Сальери защищал: гений и злодейство, считал, совместимо. При этом был мелочен – не обывательски, а интеллигентски, если можно так выразиться... Я всё это ему высказала, и это его задело. И некая женственность в нём присутствовала, постоянно сомневался в своей мужественности, а меня упрекал за грубость. Когда мы занимались сексом, он будто доказывал себе, что он настоящий мужчина. Единственно, чем он был мне интересен... а точнее, полезен – так это для развития кругозора: я поняла, что у мужиков какие-то свои тараканы в голове. Познакомились как?.. Да, действительно, я скачу от одного к другому, от мысли к мысли, чтоб не забыть... На улице познакомились, когда я ещё была за Костей. А Сёма как раз развёлся с женой. От бабы к бабе перебегал. Со мной как с новой девчонкой. Пообщались где-то в кафе и разошлись, ничего интимного. И второй раз, через несколько лет, заново познакомились. Я ему сказала, что уже знакомы... На этот раз я уже была в разводе. Похаживали друг к другу в гости и – случилось.

Очень любил слушать автоответчик – не женщина ли звонила? По-бабьи любил посудачить, косточки перемыть тому-этому. И очень быстро стал мне неинтересен, надоел, прискучил. И на всём протяжении нашей связи я чувствовала себя грязной, погрязшей в чём-то несвойственном моей натуре: «Алевтин, – спрашивала я себя, – ну ты хоть чего это?..»

Ничего нельзя было искусственно пригнать. И я не могла себя заставить. И я отваживала всех – кого сразу, кого погодя. Неродственны по духовной организации, потому – ни малейшего стремления меня понять...

Ни в ком больше не встречала я гармоничного сочетания: тонкости, чувствования жизни, ума... – как у моего Эдуардоса. И даже обнаруженная подоплёка – признание в том, что призван освободить меня от фригидности... Впрочем...

Да, ещё влюблённость была. Странная. На Кубе. Совсем романтическая. Я тогда на костылях передвигалась. Он и его жена. Он млел. Жена наблюдала. И как бережно он переносил меня на руках, когда нужно было преодолеть – лестницу, например. Это было трогательно. Да. Я тогда очень много плавала в океане – врачи рекомендовали. Заплывала далеко-далеко. Чуть ли не до течения, которое могло унести совсем и безвозвратно. Акул не было. Вода – сама нежность. Я бы хотела в такой воде существовать, жить...

Как разошлись с Костей? Была на Кубе, у матери, реабилитацию, так сказать, проходила после аварии. Вернулась, а в квартире следы чужой женщины. При том – нарочитые. И всё! Как что-то обрушилось во мне. Уходи! Вероятно, накапливалось, по мелочи – по мелочи. У всех, наверно, так. Набирается критическая масса. И потом из неё, из этой массы, трудно что-либо вычленишь. Можно, конечно, вспомнить пару эпизодов, но они же ничего не объяснят.

Вот, допустим, накануне моего тридцатилетия Костя не вынес колёса от машины с балкона. Ну и что? Если не добавить, что это было сделано из принципа... Скандал. Костя взял

сына и уехал на шашлыки. Тогда я уже на его день рождения – через девять месяцев – не стала ничего готовить и вообще... И он отменил встречу с друзьями. Разумеется, обида. А тогда с колёсами – как ни в чём ни бывало... Моя обида в расчёт не бралась. Очередной, мол, каприз. А я по этому поводу до сих пор переживаю, так мне обидно... и просто не могу простить такое невнимание, такое подчёркнуто-намеренное причинение боли. Колёса!.. Счёты стали сводить. А где счёты, там...

А он разве, сама себе могу возразить, не помнил моей измены с Эдуардосом? Но я-то его мучила не специально, я сама мучилась. Я же в Костю была влюблена два с половиной года, а потом поняла, что это рядом не стояло с настоящей любовью. Не могу сказать, что Костя был плохим человеком. Обычным, должно быть. Даже был мне хорошим другом. Но – плохим мужем. Что подразумевается под хорошим мужем? Да, пожалуй, избитое выражение, мало что объясняющее. Каждый человек себе рисует свою картинку... или же пользуется чужой. Думаю, тот хороший, кого любишь... Впрочем, тоже штамп.

Или... Ну всё-всё им делалось настолько плохо, что лучше бы не делал вовсе. И он отлынивал не просто так, а подводил под всё философию: что, мол, это в принципе невозможно сделать. Уж лучше скажи: не хочу, лень, а не серенады пой... Ох уж эти его искусственные проблемы на голом месте. Вот он на даче: ой, да эту полочку и гвоздодёром не оторвать. И минут пятнадцать обосновывал свою лень или нежелание. Сын молча подходит и легко отрывает. Костя умолкает.

И вот такое сосуществование с постоянным пережёвыванием обид, подсчётами – кто кому больше задолжал... и никаких проблесков в обозримом будущем!

И – прозрение! – что жизнь с ним не наладится никогда, и надо просто бежать... не срабатывало в голове, не сработало раньше.

На стороне же он любил покрасоваться, там его хвалили... При этом он так хорошо представлял себя жертвой... А сам элементарно манипулировал моими изгибами – моим гневом, моей искренностью, несмотря на то, что сам был невероятно толстокож. Единственно, что он чувствовал издалека – атипичность мою. И этим хвастался перед друзьями. И поступал, как самый последний самодовольный мужик. А я так страдала все эти годы от мысли, что вот попала в какую-то ловушку... семейную ловушку.

Я слишком стихийная, чтобы жить по стереотипам.

На одной из встреч с Костиными однокурсниками Стасик Тарасов изображал стриптизёра – это было смешно, и я веселилась. Так вот он, хилый такой, с впалой грудью, стал раздеваться, а потом прыгать на шест, с которого съезжал тут же на пол – силёнок не хватало удержаться. А возможно, прикидывался слабочком. И когда ребята при очередной ежегодной встрече пригласили меня в стрипклуб и подарили общение со стриптизершей, то я восприняла это как здоровый юмор. А Костя этого не понял. Ты, сказал, извращенка. А мы с ней, этой стриптизёршей, просто разговаривали всё это время. Мне было интересно, что и как в её профессии...

Да, всё это шло из его семьи. Когда я впервые увидалась с его родителями, мне сразу нужно было подумать, во что это выльется.

У него в семье культивировались сплошные предрассудки. И ему всё перешло по наследству. Я не могу вспомнить ни одного момента семейного лада, дружности...

Отца его я просто ненавидела – он всё пытался подглядывать за мной: я иду в ванную комнату, и он обязательно дёрнется, и даже не извинится, лишь зубы оскалит. А мать... ревновала меня и к мужу и к сыну. Лишь Костина бабушка меня любила и любит до сих пор. А жену его вторую не переваривает. Нашёл себе подобную, говорит.

В прошлом году я встречалась с Костиными сокурсниками – они, как и в прошлые годы, позвонили именно мне: не знали, что с Костей мы уже разошлись. Ну а я по своей непосредственности явилась, как ни в чём не бывало. Один из моих воздыхателей, Хореев, осудил меня

за развод... даже когда я сказала, что не любила Костю по-настоящему. Осудил! А? Каково! А я в него, в хорька, была влюблена целых два месяца. И как меня отвело от него?.. Уж с ним-то было бы ещё хуже.

И я искренне не жалею, что развелась... Такой момент: в загсе затребовали справку с датой решения суда, я поехала... Архив же сгорел. И моя реакция была:

– Что мне, опять разводиться?! – взмахнула даже руками, взвилась голосом.

И мне сразу:

– Тихо-тихо, всё сейчас сделаем.

Вот, наверно, и всё.

Короче, что я усвоила по жизни, так это одно – я невероятно тупа. Уже самой жизни надоело ждать от меня разумных поступков... и тогда она, жизнь, решила устроить мне катастрофу, чтобы я, наконец, поняла хоть что-нибудь.

Ехала с дачи с соседями, на их «Ниве». Жорик потом говорит, что машина сама по себе поехала на бетонный столб. Они оба с женой невредимы, ни одной царапины. А меня выбросило через лобовое стекло, сустав в бедре вырвало. И лежу я... вернее, зависла где-то между чем-то и чем-то и молю: достаньте меня отсюда, пожалуйста... Не могу вспоминать без содрогания.

В палате со мной девчонка лежала, из окна выбросилась от любви – родители запретили ей встречаться с женихом. Позвоночник сломала, и уже никогда пошевелиться не смогла бы. А ей кто-то из навещавших её родичей говорит: ничего-ничего, всё наладится. Постороннему слушать невозможно, а уж как ей, той девчонке... Отравилась. А её молодой человек повесился позже.

Да, понимаю, современная версия Ромео и Джульетты.

Вот и у меня такая была депрессуха, что... хоть в петлю.

Врачи ничего хорошего не обещали, в лучшем случае – хромой на всю оставшуюся жизнь. Однако вот всевышний повернулся ко мне лицом и дал ещё один шанс...

Первое моё приобщение к литературе произошло на Кубе. Я отправилась на выставку народного творчества Кубы. Ходила, смотрела, и ко мне подошёл мужчина – как после я догадалась: подлинный маг, заговорил со мной о жизни, о творчестве... причём, я не почувствовала совершенно, что это какой-нибудь хлыщ или маньяк сексуальный – это я чувствую за версту. И на прощанье он мне сказал: ваш путь подскажет вам одна женщина... совсем скоро, будьте готовы. И... я не помню, как он исчез. Мне показалось, что при последних словах он улыбнулся и – растворился: я задумалась над его словами, продолжала бродить по выставке и вдруг обнаружила: хожу без попутчика, одна. И лишь дома обратила внимание – с руки исчез браслет. Украсть его попросту не представлялось возможным. Он был у меня на запястье – как это правильно сказать? —запаян. И в тот же день вечером я написала своё первое стихотворение: «То ли во вне, то ли во мне»/ звучанье колокольца./ То ли во сне, то ли в избе/ засвечено оконце?/ И в том оконце/ либо свет, либо мерцанье звёзд.../ Так где же я, в каком миру/ я слышу голос муз?

И уже в самолёте над океаном рядом со мной оказалась женщина. Познакомились. Галя, профессор, специалист по племени Майя. Стала она мне рассказывать о своей работе, изысканиях, пригласила в гости – в Москве... И как-то сказала, что я по натуре творец и моё предназначение – творчество, а точнее – сочинительство.

И вот в Москве сидела я без работы, скучала по сытной жизни. И знакомая пристроила меня в Бюро технической инвентаризации. Казалось бы, ничего общего с моими творческими наклонностями. И я там, действительно, проработала недолго, потому что не задалась отношения с начальницей – обыкновенной тираншей (мелкий тиран – как у Кастанеды), – этакая фря, вся из себя благополучная. Но жалит и жалит, и жалит – всё по мелочи, по мелочи... Впрочем,

я со всеми начальниками не уживаюсь, что мужчинами, что женщинами: все они сразу чувствуют: не собираюсь я плясать под их дудку. Или подозревают некую угрозу, посягательство, что ли, на свою должность... кормушку?

Ну да ладно. Видимо, мне нужно было там очутиться, потому что туда приходил некто Симпатичнов, по каким-то своим делам. Поэт-бард, и он явно хотел, чтоб все про него знали, слышали его песни. И преклонялись. Ну, с такой претензией. И я у него спросила: вот, тоже пишу, и мне бы хотелось пообщаться с людьми подобного сорта... и значит, где бы? И он подсказал мне адрес культурного центра. И я наострилась туда и полетела, как мотылёк на огонёк. Старый район, старые дома, низкие подоконники... и какое-то у меня странное чувство, точно меня кто спрашивает: ты готова? Не поздно вернуться, мол. И, помедлив на ступеньках перед входом, я отвечаю: готова. Да, именно на лестнице это чувство меня настигло. Что-то наподобие того: можно, дескать, ещё повернуть свою судьбу по-другому. Но – я шагнула... Сделала выбор.

А перед этим я посетила одну редакцию, и некий маститый литератор прочёл мне нотацию, поглядывая на мои красивые ножки: мужчина-де, сказано было им, мечтает умереть в авиакатастрофе, а место женщины – на кухне, при детях и внуках. Мне жалко вас, девочка, я знаю, вы сейчас от меня пойдёте ещё к кому-нибудь... Лучше почитайте, полистайте хотя бы классику, тогда, может быть, к старости и напишите что-нибудь путящее... Но это я так вспомнила – для разрядки.

И вот я вхожу в зальчик – мужчины, женщины полукругом сидят на стульях, слушают читающего стихи поэта. И вдруг входит – нервный даже с виду – сизый какой-то человек (аура?), взгляд тревожный, рыскающий, и сразу садится рядом со мной, и начинает меня бесцеремонно рассматривать, и я чувствую, как он скользит взглядом по моим коленкам. А я тогда – говорила уже? – носила чулки с резинками, и эти резинки через платье проступали.

Тогда я закрыла колени книгой. И он стал приставать: что вы читаете? Да вот, отвечаю, про толтеков – людей знания. А я, говорит, книги продаю. Торгую, говорит, книгами. Мне это занятие нравится. И после пошёл меня провожать. И вот эта его бесцеремонная, даже нахальная привязчивость меня ни с того – ни сего заинтересовала, заинтриговала, завербовала... нет, не те всё слова! Закабалила! Вроде как гипнозом меня оглушило и окутало, придавило... Встречались, да. Он был по-женски чувственным, униженно-развратным каким-то, с душком испорченности как бы... И в тот период я тонула в этой его болезненной чувственности. После аварии со мной нередко случались такие провалы в депрессивность. И когда я впадала в задумчивость, он щёлкал перед моим лицом пальцами – ему хотелось, чтоб я всегда фокусировалась на нём, только к нему была обращена, хотя сам он постоянно отдалялся внутренне, пугался чего-то. И вот однажды он явился без предупреждения, без приглашения, поцеловал мою ладонь. И я подумала, что сегодня между нами должно что-то произойти... Сейчас, оглядываясь назад, я бы сказала, что между нами были какие-то, скорее, идиотские отношения. Попросту говоря, я в упор не видела того, что любому другому могло броситься в глаза сразу. Он больше играл в поэта, чем был им. Читал свои стихи с таким самовлюблённым упоением, что делалось неловко, а мои ругал, и даже очень зло... да, злобствовал, и я не понимала, почему. Но это к слову. Он был знаком с Б. С. И меня познакомил. Такой светленький, коренастый, плотненький, весь правильный-правильный... всё время боялся выглядеть смешным. Расслабься, хотелось ему сказать. А вообще, он был природённым администратором – этот Б.С., именно, точнее не скажешь – поэт-администратор. И мы втроём поехали на электричке в город К. Обычный вечер поэзии, я на подобных вечерах уже два десятка раз бывала. И Коля мой видел, как на меня смотрели мужчины, и демонстрировал при всяком удобном случае, что я его женщина.

А потом Б.С. позвонил мне. Он, кстати, первый привёл меня в Литинститут, на лекции Ц. И регулярно звал на разные сходки поэтов: в Дом учёных, какой-нибудь концерт и т. д. Так

вот, позвонил... Коля же планировал на мне жениться, повёз к родителям в чудный городок на Волге – водная гладь реки, солнце, простор, вяленая и всякая другая рыба, – замечательная поездка... Только он всё почему-то нервничал. Однажды он передал мне слова своего приятеля, с кем торговал книгами: чтобы нормально общаться с женщиной, надобно прежде всего быть самому нормальным. То есть, задним числом сопоставляя, я удивляюсь, как с самого начала не поняла, не разглядела, что Коля болен. Возможно, сама была тогда не в полном порядке. И в этом волжском городке, в отличие от меня, у него состояние было дерганое: хоть пивка, хоть чего-нибудь, лишь бы не так плохо себя чувствовать. Любил повторять: «Как поэт, я могу позволить себе шизофрению». Хотел, короче, соответствовать расхожему мнению, что творческая личность всегда ненормальна с точки зрения обывателя. И при этом тяжело переживал, если видел кого-то даровитее себя. В Дом художника как-то пошли. И там он понял, что я лучше его разбираюсь в теории живописи, поэзии, вообще в творчестве, при этом имею своё собственное мнение. Даже сказал: «Ты гораздо выше меня... я тебя не достоин...» Шутливым тоном сказал, но я видела его глаза... Да, провинция, благодать. Потом его родители приезжали в Москву, приходили ко мне. И я воспринимала его разговоры о свадьбе закономерным итогом наших отношений. Однако ж я была поражена его отцом. Цирроз печени – это не самое страшное. Главное, полная деграция личности... И Коля устроил мне скандал: тебе не понравился мой отец! Хотя я ни словечка осуждающего не обронила. А в городке ихнем всё было прекрасно. Провинциальная суета. Дочка Колина с большим родимым пятном на лице... Да, забыла сказать, он был на заре своей юности женат. И уверял, что жена его лесбиянка. Я видела её, когда приходила к нему в коммуналку, – мужеподобная, угловатая особа... Не без удивления вспоминаю также: в то время Коля мог слушать всякую-то омерзительную музыку и не менее отвратительные стихи. Но я по-прежнему не понимала его состояния. Хотя слышала разговоры в кругу его приятелей, наподобие: «Вот Коля сейчас не пьёт, ему косяк забили...» – и всё равно ничего не понимала. А брат мой Антон, как увидел его, так сразу сказал: гони его в шею, разве не видишь: он наркоман. Однако мы по-прежнему продолжали посещать разные тусовки. Сын мой тогда был на Кубе у бабушки. Словом, как говорится, моя клиника не позволяла мне видеть вокруг себя истинное положение вещей. И к тому же я стала сама от Коли заболеть – его состояние передавалось мне, липло, въедалось в тело и душу. И вот Юлька мне сказала: «Мне кажется, – сказала она, – твой Николай испортит всю твою светлую энергетику». Да я и сама чувствовала его нездоровую истеричность, какую-то паническую загнанность, собачью затравленность, наблюдала неадекватность реакций. Больная среда затягивала меня болотной трясинкой... Тут ещё друг его умер от передозировки. На похороны человек сорок набились. Вроде всё нормально, а будто и ненормальны все. И открыто разговаривают о наркотиках. И Коле хотелось, чтоб я попробовала. Всё порывался купить и принести – мне, для пробы.

Когда он чувствовал, что не дотягивает до меня – ну, в творческом плане, что ли, – говорил:

– Я б хотел, чтоб ты была калекой, тогда б я за тобой ухаживал, – боялся, очевидно, что я могу куда-то деться, уйти от него.

Мы продолжали ходить на поэтические вечера – то в салоны и клубы, то на квартиры к знаменитостям. И вот однажды у одного художника он меня шибко приревновал. Квартира та была – сплошь картины. И полна артистического народу. И только я открою рот, только начинаю разговаривать, ко мне сразу все мужики поворачиваются, точно я каждое своё слово для веса в золотую фольгу заворачивала и бросала им, как конфетку. И Коля приревновал. А дома он меня избил... Он собирался к родителям в городок (потерял работу, и надо было ему, как он выразился, переждать), и у него накопились нехорошие предчувствия. Он сказал мне об этом: вот я уезжаю, а ты тут без меня как?.. Я пожала плечами – стояла у стола на кухне, что-то готовила. И он отступил на шаг-другой... потом неожиданно вернулся и ударил в бок

кулаком. Я упала, не могла встать. В память врезалось: сметана на полу, ножки табурета... Стонала. Прошипела: уходи. И всё же я его простила. Но когда он уехал, я сразу как бы вымарала его из сознания своего. Он звонил, конечно. Но я устала от него и не находила в себе сил с ним видаться. Избегала всячески. И он сказал: «Ну, ты позвони, когда у тебя закончится мирихлюндия. В противном случае, я к тебе приеду, и побью окна!» Однако он понял: я для него потеряна.

Моя подруга Юлька охала-ахала: так нельзя! – пока он у меня жил. Поэтому выразилась просто: наконец-то это прекратилось. Слава Богу! Да, болезнь долго тянулась. Такая безнадёга – уже только оттого, что существовала рядом с наркоманом. Представляю, каково им самим?.. Не всё ли мне равно?

А вскоре наш знакомый поэт-администратор Б.С. устроил свой творческий вечер на своё сорокалетие – в доме учёных. И, как всегда, пригласил кучу народу. Замешано круто, а стихов как не было, так и нет. И – на банкет. И некий Глюн напротив меня случился за столом, и всё время глазел на меня выразительно-выразительно. А у меня распушались волосы – заколка плохо держала. И Глюн этот потом сказал: «Как я желал, чтобы эта прекрасная женщина распустила волосы... и она услышала...» Что-то меня сразу тормозило подвинуться, как говорить, в его сторону. Но он пристал, как банный лист. Стихи ему показала. Забыла кто – кажется, некто из Союза Неизвестных Литераторов – сидел со мной рядом и тоже завидуще на меня тарашился, и предлагал издать совместную книгу. Глюн же: нет-нет, надо чтоб вокруг была настоящая, известная литература. Но я держала его на расстоянии. А потом он спросил: хотела бы я поступить на высшие литературные курсы? Вот он этим займётся. И стал заниматься. Я лишь сфотографировалась на документ... Вот тебе надо написать две работы, сказал. Я тебе помогу. И всё это достаточно прозрачно – в том смысле, что через постель. Попутно он рассказал обо мне в определённых кругах – а я тогда толком ничего не знала о литературной среде, путалась даже в названиях союзов, в интригах, в голове всё перемешалось, и Глюн в этом смысле мною руководил. И паутина эта навешивалась на меня, липла, пеленала меня, пеленала... Он же отдал мои стихи Маврикию в журнал, где тот заведовал поэзией. И как, мне потом передали, орал сей Маврикий благушей: я не хочу это и читать!.. А я тогда на электричке ездила на дачу, почитывая рекоммендованные книжонки. И думала: если я гожусь, то гожусь, но статью буду писать сама, без чьей-либо. Ещё помню, мне было тяжело переходить со стихов на прозу. Но одолела... И на Ричарда Баха я сочинила статью. Председатель комиссии прочёл, одобрил и сказал, что берёт меня в свой семинар.

Короче, Глюн заинтриговал всех – то есть всё это выносилось им в Организацию. После, соединив в голове обрывки разговоров, я поняла: да, выносил... И я появилась в институте. До этого я пригласила Глюна на дачу. Он как раз принёс бумагу, что я принята, и не скрывал нетерпения, что наконец-то я ему отдамся. А я там психанула. Он моментально схватил бумагу эту и спрятал в карман. Шантаж, короче. Он как-то даже, по-моему, не сомневался, что ради этого я буду готова на всё. Уже тогда я должна была понять – гнусен! Но настолько сильно давили меня упаднические настроения, настолько сильно саднила травма... и я подумала, что зря обижаюсь. И я допустила его до себя, но уже потом, на квартире. Ох, вся эта липкая паутина, эти скользкие сопли... Юлька сказала мне так: всё ты понимаешь, а всё равно делаешь. Почему? Я и сама задавала себе этот вопрос. И не могла ответить. И в этой неосознанности я блуждала как в дурном лилово-сером тумане. Любопытный момент: повёл меня Глюн на свадьбу своего корешка-однопольчанина и не захотел покупать цветы – это меня поразило. Первое, что увидела: загаженная квартира, свинарник в прямом смысле: цветы в алюминиевом бидоне... Я брезгую неопрятными словами, но тут иначе не скажешь: гадюшник. Впавалку спящие пьяные хари! Ни красоты, ни праздника. Общее настроение: потворство собственным слабостям – вот были мы когда-то при чинах, а теперь нас не ценят! Поза во всём – в каждом жесте и слове... этакое тупоумие полужнаек. Вся эта внешняя грязь и внутренняя слабость.

Невеста сказала что-то не так, и жених бросил в неё башмак: зря я женился на тебе! – причём, матом выругался. А потом – целование гнилыми ртами, пьяный плач этой бабы по случаю примирения. И я пулей вылетела оттуда: «Зачем ты меня сюда притащил?!» Я вдруг оказалась в таком тусклом, безрадостном мире... и как они могут во всём этом жить? А Глюну в то время негде было преклонить голову. Он избил свою жену, которая решила вернуться с детьми на родину, и после изображал из себя политзаключённого, когда его за избиение посадили в кутузку – но об этом я позже узнала. На даче он пожалился моему соседу, старому деду, а тот ему: ну и дурак! Понашлёпал ребятешек, а сам где-то шляешься. Показательно? И, тем не менее, прошло мимо моего сознания... И он переехал ко мне. А я чувствую, что не могу с ним, а всё же разрешила. Что я не принимала в нём однозначно, так это его бегающие кроличьи глазки... Как-то он исчез на три дня. И позвонила женщина. «Вот мы познакомились в метро, он читал мне стихи... он мне так понравился...» Зачем звонит? Глюн появился на другой день и стал лгать: был-де «на ответственном задании», – беззастенчивый, пошлый плагиат анекдота. Сказал бы лучше: шлялся по кабакам. Всё это сплошная гнусность от начала и до конца. И всё это омерзительно до последнего жеста! В один прекрасный момент я поняла: не могу больше. Одним вечером: уходи! Не уйду! – Оккупировал территорию и ни шагу назад. Я взбесилась и стала орать. Потом бросилась к телефону. Не пускает. Едва вырвалась к соседям. Брату Антону позвонила – не было: на съёмках. Косте, своему бывшему мужу... Глюн забеспокоился. Стала выдавливать: убирайся! И тут я увидела в его глазах нечто пугающее, страшное, искорка такая в глазах его возникла... я поняла: способен убить... и я, точно, до утра не доживу. Испугалась, ударилась в истерику! – так орала, что соседи постучали в дверь и сказали, что вызвали милицию. Тут Глюн и слинял... Случилось это в первых числах сентября. А первого, уже сказала, я отправилась в институт.

После ухода Глюна все, кто принимал во мне участие, опять вздохнули с облегчением. А я принялась за учёбу – новая жизнь началась. Глюн всё ещё делал круги вокруг меня, корчил обиженные мины. Подошёл даже в организации, руку поцеловал. Так мне после помыться хотелось.

Всем стал про меня рассказывать гнусности. Например, что написал за меня работы для поступления...

Как я могла его до себя допустить?

А с другой стороны – помог вступить на литературную, так сказать, стезю. Определиться. А это было для меня на тот период моей жизни очень важно. Ведь до этого мне все, кому не лень, предлагали не саму литературу, а лишь её атрибутику. Так что... не знаю.

## 9.

Миронов поехал помочь Волохе увезти книги от его бывшей жены. «Книги, понимаешь? Какой я преподаватель без книг! И никакая сволочь не хочет помочь! Они ж тяжёлые!» Как тут отвертеться? Штатная, что называется, ситуация. И забылось бы всё, да ощущение, возникшее у Миронова, когда он уже вечером возвращался домой, неприятное такое и неотвязное: Волоха хотел ему будто сказать нечто важное, но почему-то не сказал... Что ему помешало? Да, саднящее и утомляющее неопределённостью ощущение понудило Еёй выстроить подробности прошедшего дня в некую логическую цепочку.

Алевтина пошла с ним до метро, дальше ей надо было по своим делам на другую ветку. Волоха, не ожидавший её увидеть, несколько смутился. На её игривый вопрос: «Ты не рад мне? Разве ты больше не любишь меня?» – ответил:

– Люблю, как же. Но дружба с Мирохой не позволяет мне выказывать это открыто.

Он, как всегда, был находчив на слово.

Потом вдвоём на автобусе до Дзержинска. Бутылка пива (Миронов отказался) Волоху расслабила – сразу стало заметно, что он с глубочайшего бодуна.

– С Натали поругался вчера... – сказал он, и хотел прибавить что-то ещё, но лишь пошевелил левым усом: либо забыл вследствие побежавшего по жилам алкогольного оживления, либо передумал. Ведь он не только был находчив, но и чувством меры обладал, посему презирал излишнюю болтливость.

Заказанный грузовичок уже стоял у подъезда.

Лена встретила по-деловому:

– Холодильник в углу тоже можешь забрать... – Ну и так далее.

Кое-что было уже упаковано, кое-что пришлось упаковывать и перевязывать. Старший сын держался отчуждённо и не очень-то стремился помогать... или, напротив, хотел выразить этим, что не хочет выпроваживать отца... кто знает? Младшенький же долго мялся, прежде чем ответить на вопрос: поедет ли он с папой на праздничные дни к бабушке и дедушке в деревню?

– Не знаю. Надо спросить у мамы.

Книги в больших картонных коробках оказались действительно тяжеленными. Натаскались вдосталь. Волоха несколько раз едва не упал на лестнице. Сказались похмелька на вчерашнюю закваску, плюс усталость физическая да ещё нагрузка психологическая, как определил Миронов.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.